Krestovskaia, Lidiia
Aleksandrovna
Iz istorii russkago vo-
lonterskago dvizheniia vo
Frantsii

D
640
K92

228
A 2417

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/izistoriirusskag00kres

Изъ исторіи русскаго волонтерскаго движенія во Франціи.

Krestovskaia, Lidiia Aleksandrov
Iz istorii russkago volonterskago dvizheniia vo Frantsii

Лидія Крестовская.

Изъ исторіи русскаго волонтерскаго движенія во Франціи.

...Памяти тѣхъ, кто никогда больше не вернется...

РУССКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ВЪ ПАРИЖѢ
JACQUES POVOLOZKY & Cie
Editeurs
13, Rue Bonaparte, Paris (VIe)

D
640
K92

Исполнено
«Славянскимъ Издательствомъ» въ Прагѣ.
Типографія Neuber, Pour a spol., Praha 855-I

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ДНЕВНИКЪ.

БЛУА, 10 сентября 1914 г.

Неисповѣдимы пути твои, Господи!

Я пишу сейчасъ въ Блуа, въ какой то чужой комнатѣ, ночью. Мой мальчикъ спитъ тихимъ сномъ въ чемоданѣ, куда приходится его класть, за неимѣніемъ люльки.

Только что ушелъ Василекъ въ казармы, чтобы не опоздать къ вечерней 9-часовой повѣркѣ.

Пять недѣль прошло съ того момента, какъ родился Игорекъ. Пять недѣль крупной жизни, когда каждый день несъ съ собою смятеніе, ужасъ, потокъ страшныхъ ощущеній, никогда не уйдущихъ изъ души. Для моего мальчика хочу я записать, что съумѣю, изъ пережитаго и видѣннаго, чтобы отдать ему, когда въ силахъ онъ будетъ понимать всю огромность того, что совершалось въ мірѣ надъ его безмятежно спавшей, счастливой головкой.

Пусть же свѣтлымъ останется въ его душѣ образъ отца, поставившаго сейчасъ на карту свою жизнь и счастье мое и нашего маленькаго мальчика.

Въ концѣ іюля, послѣ Сараевскаго покушенія, въ газетахъ стали появляться тревожныя статьи — первыя ласточки грядущей войны. Возможность ея стала обсуждаться, но какъ что-то очень далекое — и жизнь шла своимъ чередомъ. Никому въ голову не приходило, что черезъ какихъ-нибудь 10 дней вся Европа поднимется въ одномъ гигантскомъ порывѣ къ свободѣ.

Парижъ жилъ какъ всегда кипучей, пестрой жизнью. Магазины, театры, синема переполненные иностранцами продолжали ежедневную работу. Покойныя лица, веселая французская рѣчь и обычная жажда радости жизни — таковъ былъ обликъ города еще 30-го іюля.

1-го августа Парижъ жужжалъ, какъ встревоженный пчельникъ. Улица, всегда первая отражающая на себѣ настроенія города, сразу захватывала лихорадочнымъ движеніемъ, тревожной суетой. Лавочники, прохожіе, женщины и дѣти держали въ рукахъ листки окаймленные чернымъ и горячо, съ обычной темпераментностью говорили, обсуждали, спорили. Многіе плакали.

Я подошла къ ближайшей группѣ и прислушалась. „L'assassinat de Jaurès" донеслось вдругъ до меня. И такъ холодно, и такъ страшно сдѣлалось, что захотѣлось опрометью бѣжать, узнать, провѣрить, кричать... Оказалось — правда, и я поняла и волненіе, и слезы, и то, что Франція, лишившись Жореса, потеряла оплотъ свой, свою лучшую, свѣтлую душу.

Къ тому же Жоресъ, такъ страстно желавшій мира, казалось, одинъ могъ предотвратить надвигавшуюся войну. Казалось такъ... А, можетъ быть, доля правды была и въ этомъ.

Но гроза должна была разразиться, и первымъ ударомъ грома была смерть Жореса; на утро въ газетахъ и на улицахъ появилось объявленіе о всеобщей мобилизаціи; а вечеромъ того же дня camelots бѣгали по всему Парижу, выкрикивая сенсаціонное извѣстіе: „Германія объявила войну Россіи!"

А потомъ событія стали разгораться съ головокружительной быстротой.

3-го августа — въ день рожденія Игорька, — Германія объявила войну Франціи и послѣднія надежды на сохраненіе какого-либо политическаго равновѣсія рухнули.

Самое страшное, то, чего за нѣсколько дней до этого нельзя было предвидѣть — міровая война разыгралась.

Мнѣ не пришлось видѣть Парижа въ дни мобилизаціи. Я лежала больная и цѣлыми часами слушала разсказы всѣхъ приходившихъ оттуда — съ улицы. И вотъ, изъ всѣхъ этихъ часто несвязныхъ, отрывочныхъ наблюденій надъ городомъ и людьми выросталъ передъ глазами какой-то новый Парижъ незнакомый и странно чужой.

Лихорадочная жизнь, огромная организаціонная работа перестраивавшагося наново темпа жизни, подведеніе всего подъ „военный ладъ" смѣшивалось съ умираніемъ и опустошенной тишиной, непривычной для махроваго, звенящаго смѣхомъ Парижа.

Элегантные силуэты женщинъ передъ чудесными витринами, усталыя фигуры иностранцевъ за столиками въ кафэ, атмосфера счастья, въ которой легко жилось — все это стерлось, ушло.

Огромные автомобили, наполненные военными съ бѣшеной быстротой неслись по городу. Озабоченные люди съ чемоданами въ рукахъ спѣшили къ вокзаламъ и уѣзжали въ свои полки. Поѣзда за поѣздами уходили, унося молодыхъ и старыхъ, начиная съ рабочихъ, кончая сыновьями министровъ. Общая мобилизація сравняла всѣхъ и передъ лицомъ европейской войны всѣ встали братьями защищать родную землю.

Народъ шелъ съ энтузіазмомъ безъ пафоса и манифестацій съ сознаніемъ долга и нужности совершающагося.

Первые дни женщины плакали, слышны были жалобы и стоны. На пятый или шестой день мобилизаціи трудно было встрѣтить женщину съ наплаканными глазами.

Сдержанныя, внутренно отвердѣвшія онѣ провожали близкихъ до вокзала, подбадривая и благословляя. Нерѣдко слышалось суровое замѣчаніе, обращенное къ кому-нибудь изъ толпы, къ болѣе слабымъ: „ce n'est pas le moment de pleurer"... И слезы моментально вытирались и слова напутствія звучали сурово, по-мужски.

Франція провожала дѣтей своихъ на крестный путь.

6-го декабря 1914 г.

А въ это же время въ Парижѣ развертывалась другая сложная жизнь.

Драма людей, не имѣвшихъ своей земли и поставленныхъ передъ совѣстью въ моментъ, когда страна, давшая имъ пріютъ, находилась въ опасности.

Русская колонія переживала тяжелый часъ. Вопросъ, какъ реагировать на событія, что дѣлать, вставалъ передъ всѣми и каждый чувствовалъ, что молчаніе преступно, что жизнь требуетъ немедленнаго отклика и участія.

Многіе записывались на полевыя работы, уѣзжали въ окрестности рыть траншеи, укрѣплять парижскіе форты, шли на фабрики дѣлать обюсы.

Но основнымъ, конечно, оставался вопросъ о волонтерствѣ. Нужно было опредѣлить отношеніе къ войнѣ, нужно было согласовать политическіе взгляды съ создавшимся положеніемъ вещей.

Для людей всю свою жизнь строившихъ на отрицаніи войны, на пропагандѣ антимилитаризма, участіе въ войнѣ, хотя бы и оборонительной, являлось ломкой цѣлаго міровозрѣнія.

Потребность выяснить мучительные вопросы вызывала нескончаемыя бесѣды и собранія.

Люди спорили яростно, съ ненавистью и съ первыхъ же дней создались два враждебныхъ теченія, расколовшихъ подчасъ годами созданныя отношенія.

Вопросъ о войнѣ сдѣлался осью,—провѣркой жизни.

Но на ряду съ исканіемъ отвѣта въ столкновеніи съ противоположными взглядами у многихъ происходилъ обратный процессъ молчаливаго сознанія происходящаго и пересмотра всѣхъ заповѣдей жизни,—бывшихъ до тѣхъ поръ основою цѣлаго міровозрѣнія.

Мнѣ вспоминается разсказъ объ убитомъ теперь на фронтѣ волонтерѣ Н. В. Сапожковѣ. Два дня лежалъ онъ, не вставая у себя въ комнатѣ, не отвѣчая на вопросы, не говоря ни слова, оцѣнивая и взвѣшивая всѣ pro и contra, а потомъ всталъ и просто сказалъ своимъ близкимъ: „иду въ волонтеры!“ И никакіе вопросы и возгласы не могли вырвать отъ него ни объясненій, ни аргументовъ.

Вопросъ былъ рѣшенъ по глубокомъ раздумьи и всякія слова оказались излишними.

Въ молчаніи ли, въ спорахъ ли вынашивалось рѣшеніе итти на фронтъ, оно становилось общимъ, оно захватывало массы и организовывало тѣсные экипы людей, связанныхъ одною мыслью и однимъ долгомъ.

Еще вчера, совсѣмъ чужіе, различные классы и національности строились въ ряды то суровые, то смѣющіеся, увлеченные своего рода спортомъ, забурлившей вокругъ жизни.

Необычайно разнообразенъ былъ составъ лицъ, почему-либо пошедшихъ въ волонтеры: журналисты, писатели и художники, ремесленники, клоуны и старьевщики — все это гудѣло, создавая безформенную, но жуткую силу. И, естественно, во главѣ ея долженъ былъ стать тотъ авангардъ русскаго волонтерства, отъ котораго теперь осталась лишь малая группа покалѣченныхъ, разсѣянныхъ по міру людей.

Я говорю о такъ называемомъ „республиканскомъ отрядѣ".

Онъ создался изъ наиболѣе сознательныхъ элементовъ колоніи, эмигрантовъ, связанныхъ въ прошломъ тюрьмой и Сибирью рабочихъ и интеллигентовъ, партійныхъ и безпартійныхъ.

Стоитъ упомянуть такіе имена, какъ Ст. Н. Слетовъ, Н. В. Сапожковъ-Кузнецовъ, Мих. Давидовъ, Онипко и пр., для того, чтобы понять моральное значеніе этого отряда. Въ теченіи 16 дней съ объявленія войны до 20 августа на rue Tolbiac въ пустомъ и снятомъ для этой цѣли помѣщеніи происходили собранія за собраніями, запись въ отрядъ и подготовительныя занятія подъ руководствомъ одного изъ иниціаторовъ группы тов. Осберга. Не обошлось, конечно, и безъ эксцессовъ. Въ отрядѣ создалось крайнее лѣвое крыло, призывавшее товарищей одѣвать красныя гарибальдійскія рубахи и итти въ солдатскія массы проповѣдывать миръ съ оружіемъ въ рукахъ. Они предлагали устроить на большихъ бульварахъ публичную демонстрацію съ пѣніемъ Интернаціонала и знаменами съ соотвѣтствующими надписями. Только послѣ долгихъ убѣжденій болѣе умѣренныхъ элементовъ эта мысль была отброшена, какъ явно несуразная и могущая повести къ большимъ осложненіямъ и непріятностямъ.

Но все это было внѣшнее и неважное.

20-го августа секретарь волонтерскаго отряда т. Осбергъ выпустилъ небольшое воззваніе къ товарищамъ эмигрантамъ, приглашавшее ихъ на общее собраніе для окончательнаго обсужденія создавшагося положенія.

Это была, дѣйствительно, послѣдняя перекличка. Послѣднія слова были сказаны — надо было итти въ ряды.

21-го утромъ эспланада передъ Домомъ Инвалидовъ представляла собою невиданное зрѣлище.

Море людей всѣхъ національностей сплотилось въ братскую рать. Въ моментъ, когда Франція дрогнула отъ набатнаго боя, эта армія случайно пригрѣтыхъ ею въ тяжелые часы людей — нашла одно нужное, всѣхъ объединившее слово

„Présent!"

Всѣ встали подъ знамена.

Съ пѣніемъ національныхъ и революціонныхъ пѣсенъ бельгійцы, русскіе, американцы шли записываться на защиту Франціи и въ лицѣ ея и своей, у многихъ уже окровавленной, родины-матери.

Больше 9000 русскихъ прошло черезъ рекрутскіе наборы бюро Maison des Invalides; а на утро нашедшихъ годными къ строевой службѣ, въ количествѣ почти 4000 человѣкъ отправили на обученіе въ лагеря, а потомъ на фронтъ, съ котораго не многіе вернулись обратно.

УѢХАЛИ.

Стихли споры, смолкли. Сжалась душа. Жизнь раздвоилась на „тамъ и здѣсь“. Мысль не отдѣляла своего отъ чужихъ, спаивая въ одно ушедшихъ, сбратавшихся въ единую семью. Длинные вечера со спящимъ ребенкомъ, тихія комнаты и скорбныя мысли безъ отдыха, подъ гулъ военныхъ автомобилей и тревожныхъ сиренъ.

Уѣхали...

„НѢМЦЫ ПОДХОДЯТЪ“.

Послѣ страшной битвы при Шарлеруа первые отряды нѣмецкой кавалеріи появились въ полутора часахъ ѣзды отъ Парижа, въ окрестностяхъ Compiègne'я.

Вопросъ объ осадѣ и эвакуаціи города подавилъ все остальное.

Безконечные хвосты женщинъ у лавокъ, лихорадочная закупка продуктовъ, разсказы объ ужасахъ осады 70 г. и паника, охватывающая пожаромъ,— вотъ обликъ города первыхъ дней сентября.

Ужасъ передъ осадой удваивался, благодаря налетамъ блиндированныхъ нѣмецкихъ аэроплановъ, бросавшихъ въ населеніе бомбы, часто раскраивавшія каменные многолѣтніе дома.

Тысячныя толпы окружали вокзалы, выжидая возможности попасть на поѣздъ. Съ 4-хъ часовъ утра вставали въ очередь, иногда простаивая по 10-12 часовъ.

Странно было глядѣть на этихъ еще вчера покойныхъ людей, снявшихся съ мѣста съ дѣтьми, ѣхавшихъ куда-то на неизвѣстное, вдаль.

Сѣрыя лица, тревожныя слова, срывы гнѣва и ожиданіе, мучительное ожиданіе усталой толпы.

Люди стояли тѣсно прильнувъ другъ къ другу, отдѣленные лишь огромными чемоданами, лежавшими тутъ же на землѣ. Ихъ приходилось брать съ собою, такъ какъ за неимѣніемъ свободныхъ мѣстъ багажъ не принимался.

Каждыя двѣ, три минуты толпа подавалась на шагъ впередъ и весь этотъ скарбъ ударялъ по ногамъ, еще болѣе обостряя усталое озлобленіе. Пять долгихъ часовъ ожиданія, подъ гулъ проносящихся аэроплановъ и безконечный гулъ толпы.

Съ трехнедѣльнымъ ребенкомъ на рукахъ, едва оправившись послѣ родовъ, я уѣхала въ Блуа, одинъ изъ городовъ, куда направлены были первые эшелоны волонтеровъ. Я стояла чувствуя, что еще минута и я упаду, не выдержавъ сумасшедшей усталости.

Кто-то сжалился надо мной и черезъ нѣсколько минутъ, въ сопровожденіи двухъ полисменовъ, я вышла изъ толпы, обошла затопленную десятками тысячъ людей набережную и вошла на перронъ.

Смутно помню, какъ пробило 10 часовъ, какъ хлопнули дверцы вагона и поѣздъ медленно оторвался отъ Парижа и всего, что не суждено было больше никогда пережить.

Вагоны были переполнены.

У окна, покуривая трубки сидѣло нѣсколько раненыхъ съ темными лицами южанъ. Они оживленно обмѣнивались наблюденіями, постепенно втягивая сидѣвшую кругомъ публику въ разговоръ.

Одинъ изъ территоріаловъ, возвращавшійся изъ депо на побывку домой, разсказывалъ добродушно похлопывая своего сосѣда по спинѣ:

„On est bien au dépôt, mon vieux, on ne mange pas mieux chez soi“.

„Les casernes ça peut encore aller, mais ces sacrés hôpitaux! La-la-la-la!!“ откликнулся одинъ солдатъ, съ перевязанной рукой.

И начался безпощадный вопіющій разсказъ обо всѣхъ ужасахъ, творившихся въ первый годъ войны по всей Франціи.

Въ госпиталяхъ, казалось бы, лучше всего оборудованныхъ не хватало наиболѣе необходимаго — ваты, іода, хинина. Солдаты приходили съ гангренами отъ лежанія иногда по двое, по трое сутокъ въ гною безъ помощи.

„Мнѣ пришлось,— откликнулся изъ своего угла раненый французъ изъ 113-го полка — будучи самому контуженнымъ въ ногу, тащить съ товарищемъ на сложенныхъ ружьяхъ моего beau-frèr'а, упавшаго въ атакѣ рядомъ со мной. На протяженіи 6-ти километровъ мы не встрѣтили ни одного перевязочнаго пункта и ни одного brancardier, потому что на 140 солдатъ приходится ихъ двое; какъ же вы хотите чтобы они управились и дѣйствительно были въ подмогу?“

Въ госпиталяхъ, гдѣ за больными ухаживали монахини и свѣтскія женщины клерикалы забрали въ свои руки огромную власть: происходили подчасъ совершенно вопіющія вещи: умирающій тюркосъ былъ окрещенъ противъ воли за нѣсколько часовъ до смерти. Патеръ приходилъ ежедневно, садился у изголовья умирающаго часами убѣждая его раскаяться, принять причастіе или креститься.

Солдаты обращались къ сестрамъ, прося избавить ихъ отъ этого мучительства, хотя бы потому, что эти увѣщанія ихъ утомляли. Но такія вмѣшательства вызывали лишь худшую реакцію.

Въ одномъ частномъ госпиталѣ свѣтскія дамы, ухаживавшія за ранеными, на отказъ многихъ молиться и причащаться, не

рѣдко реагировали истериками, а многихъ, окончательно непокорныхъ, отправляли въ качествѣ наказанія въ городскіе военные госпиталя.

И вспоминались разсказы о томъ, какъ въ Россіи бредовые крики больныхъ солдатъ, метавшихся въ жару и повторявшихъ „Господи, Господи!“истолковывались священниками, какъ обращеніе къ Господу и служили поводомъ къ крещенію и причащенію людей, находившихся въ безсознательномъ состояніи...

Вагонъ, тихо покачиваясь, несся впередъ. Солдаты, сидѣвшіе у окна, вышли въ корридоръ, уступивши свои мѣста другимъ. Разговоръ, какъ кинематографическая лента, мелькалъ, смѣчаясь, умирая, загораясь и увлекая всегда новыми, живыми мучительными темами.

Нѣсколько рабочихъ, почтальонъ призванный въ этотъ день и пять-шесть стариковъ-резервистовъ говорили объ убійствѣ Жореса. „S'il n'y avait pas Jaurès, il n'y aurait pas de république en France; elle tenait par Jaurès“...

Все называлось своими именами: поражала смѣлость критики правительства и общаго положенія. Винили французскихъ главнокомандующихъ въ неудачахъ, называли имена генераловъ предателей, говорили объ огромномъ энтузіазмѣ, съ которымъ шелъ народъ.

„Et vous, Madame, vous avez quelqu'un à la guerre?“ услыхала я вдругъ ласковый голосъ, гортанно, по-южному, выговаривавшій слова.

Вопросъ вывелъ меня изъ состоянія усталаго оцѣпененія, и я вдругъ поняла, что Парижъ позади, что на вокзалѣ осталась мать съ вещами, деньгами, пеленками и ѣдою и что я съ маленькимъ спящимъ мальчикомъ, зажатымъ билетомъ въ рукѣ и огромнымъ чемоданомъ у ногъ ѣду куда-то въ Блуа, на неизвѣстное, неясное.

И невольно отвѣтъ сказался простой и задушевный, какой даешь своимъ. Никогда не забыть мнѣ тепла, съ которымъ огкликнулись всѣ кругомъ. Не было вещи, которою не подѣлились бы съ нами солдаты, съ улыбкою и жалостью разсматривавшіе трехнедѣльную крошку, безпомощно лежавшую у меня на рукахъ. Съ помощью большого солдатскаго платка и двойныхъ булавокъ мнѣ удалось перепеленать мальчика, который проснувшись ясно улыбался синими глазками, ничего не вѣдая ни о чемъ. И потомъ, когда люди смолкли, усталые, и мѣрный стихъ колесъ сталъ смыкать замученные глаза, я почувствовала, какъ мозолистыя руки сняли мальчика съ моихъ колѣнъ и послѣднимъ воспоминаніемъ осталось въ глазахъ лицо старика-француза, корявыми, загорѣлыми руками сгонявшаго мухъ съ лица улыбавшагося ему мальчика.

„Pauv' mioche, va!“

„Bon courage, ma pauv' dame", говорили солдаты, вытаскивая мой чемоданъ на вокзалъ. — „Et bien le bonjour à M-r Votre mari. Le bon type faut penser?"

„Je suis heureux tout de même d'avoir vu une russe dans ma vie" — положивши мнѣ руки на плечи, говорилъ солдатъ, что берегъ Игорюшку во время сна.

Поѣздъ тронулся, ласково звучали прощальные голоса. Я осталась одна. 6 часовъ. Куда-жъ идти? Что-жъ дѣлать? Въ казармы — авось найду!

Caserne de Saxe. Огромное бѣлое зданіе. Меня ввели во дворъ, и, сидя среди бродившихъ кругомъ солдатъ, я кормила Игорюшку, пока посылали искать Василька.
Подошелъ часовой и бережно перевелъ меня въ закрытое мѣсто.

„Comme ça vous serez plus à l'abri. Il fait trop de vent par là pour le petiot!

Pauv' Gosse!"

И опять ласково улыбаешься въ отвѣтъ, потому что все это продолженіе большой военной семьи, въ которой живу этотъ вчера начавшійся день — первый въ длинномъ ряду...

„Василекъ!.. Боже мой..."

Стиснутый въ куцый нарядъ, съ бритой наголо головой, онъ напоминалъ бѣглаго каторжника.

Ужасающе грязные парусиновые штаны, втиснутые въ ободранные, съ болтающимися тесемками сапоги. Синяя куртка до пояса нелѣпо сидѣла на русской фигурѣ, разъѣзжаясь по швамъ, не сходясь на груди, съ кургузыми рукавами едва ниже локтей. Фетровая шляпа на головѣ. Какой-то совершенно непристойный маскарадъ.

„Что? хорошо обрядили? Въ русскихъ тюрьмахъ и то сподручнѣе одѣвали, а тутъ... балаганъ одинъ!"...

Я глядѣла въ лицо ему. Загорѣлый, суровый—суровостью внутренней, выработанной. За двѣ недѣли другой человѣкъ.

Мы пошли... Неумѣло держалъ онъ на рукахъ Игорька, боясь уронить, любопытно разсматривалъ ушки, пушокъ на головѣ...

Блуа былъ переполненъ. — Нигдѣ ни одной комнаты. Вездѣ тотъ же отвѣтъ. Въ одной изъ гостиницъ, при видѣ грудного ребенка хозяйка, сжалившись, предложила уголъ въ салонѣ, гдѣ уже ночевало 8 человѣкъ. Какъ милостыни добившись обѣща-

нія, что этотъ уголъ не будетъ сданъ втеченіе получаса — мы ушли, оставивъ ребенка въ кафэ, на рукахъ у волонтера Федорова, случайно повстрѣчавшагося на пути. Послѣ долгихъ, тяжелыхъ поисковъ, наконецъ, нашли уступленную служанкою каморку на 5-омъ этажѣ.

„Эхма! И поглядѣть то на васъ родныхъ не успѣлъ. Бѣжать надо. Слышишь, rappel бьютъ...“

Ушелъ.

Чужая комната... Барабанные перебои... мѣрный шагъ патрулей подъ окнами, и безмятежно спящій, въ раскрытомъ чемоданѣ на столѣ, малый мальчикъ, въ войну рожденный, войною окрещенный...

„Enfant de guerre“

Ушелъ... и мысль уходитъ туда, за стѣны, въ казармы... за нимъ...

На утро я ѣхала на вокзалъ въ трамваѣ.

„Et le petiot ça a-t-il bien dormi?“ добродушно посмѣиваясь, спросилъ кондукторъ.

Я удивленно взглянула на него.

„Mais je vous ai aperçu hier à votre arrivée à la gare. Vous aviez l'air bien fatigué avec votre mioche, pauv'dame“...

Все продолжается мой вчерашній день, все та же семья, въ которой суждено мнѣ жить почти 4 года. И радостно отъ этой незнакомой простоты человѣческихъ отношеній, что создала война, побратавшая чужихъ...

Необыкновенное впечатлѣніе производилъ Блуа. Казалось, пестрый лагерь раскинулся по всему городу.

Два французскихъ полка 113 и 39 занимали центральныя казармы, въ ожиданіи отправки на фронтъ. Зуавы, тюркосы волонтеры то построенные въ ряды для маневровъ, то праздными группами цѣлый день прорѣзали улицы.

Военные окрики командующихъ эскуадами четко звенѣли въ воздухѣ. Барабанный бой призывные кличи рожковъ, гудки каміоновъ держали душу въ непрерывномъ бодромъ напряженіи.

И хотѣлось минутами сказать... La guerre est gaie... но только минутами...

Изъ окна моей комнаты, находившейся на одной изъ центральныхъ улицъ, было видно, какъ проносились больничные автомобили, фургоны, перевозившіе раненыхъ съ вокзала въ госпиталь. Особые носилки, перекинутые на вѣсу черезъ автомобили, придерживались сестрами милосердія, сопровождавшими очень серьезныхъ больныхъ. Съ закрытыми глазами, лежа въ повязкахъ на спинѣ, они спаивали мысль со смертью, и проще становилось представленіе о фронтѣ и глубже входилъ онъ въ душу.

По нѣсколько разъ на день слышались погребальные удары церковныхъ колоколовъ. Характерное бряцаніе опущенныхъ внизъ ружей, монотонные повторы молитвъ и бѣлый гробъ подъ трехцвѣтнымъ знаменемъ.

Замирали разговоры, обнажались головы, и нерѣдко чужіе примыкали къ военному кортэжу, часто единственному спутнику умершаго въ одиночку солдата.

Но душа не успѣвала останавливаться на одномъ.

Вихремъ смѣнялись впечатлѣнія и какъ въ горнилѣ перегорали, переработывая наново психику.

Вереницами неслись автомобили. Пыльные, биткомъ набитые людьми—отзвуки охваченнаго паникой Парижа. Нагруженные чемоданами, собаками, корзинами съ пѣтухами и курицами, дѣтьми и всякимъ скарбомъ, они напоминали бѣгучіе домики съ перевороченнымъ вверхъ дномъ добромъ и обезумѣвшими людьми. Это былъ моментъ переѣзда Правительства въ Бордо, и всѣ, у кого была возможность оставить Парижъ—уѣзжали не медля на югъ.

Какъ во всякомъ маленькомъ городѣ, улица первая узнавала всѣ крупныя событія и оживленно обсуждала проносившіеся слухи.

Провозъ плѣнныхъ изъ Бордо, прибытіе поѣзда съ Grands blessés, ближайшая отправка на фронтъ 113 полка—все это составляло жизнь, всѣмъ этимъ мучились и болѣли ..

Въ шесть часовъ вечера Блуа преображался. Казармы пустѣли, и толпы солдатъ наводняли улицы.

Казалось, живешь въ огромной военной ставкѣ, въ которой штатскіе и женщины совершенно растворялись. Толпами бродили они по мостовой, заходили въ кафэ, смѣялись, перешучивались.

Русская рѣчь переплеталась съ англійской. Негры, индусы, бельгійцы яркими пятнами выдѣлялись изъ общей массы.

Особенное вниманіе привлекали къ себѣ раненые при Шарлеруа зуавы. Смуглые красавцы, въ широкихъ желтыхъ шароварахъ, красныхъ поясахъ и кэпкахъ они сидѣли за столиками въ ожиданіи отъѣзда въ Марсель.

Сверкая зубами, добродушно показывали столпившейся кру-

гомъ публикѣ густо издырявленные штаны и куртки, обводя всѣхъ глазами и не понимая ни слова изъ того, что имъ говорили.

Увѣшанныя медалями груди за бои въ Африкѣ говорили о долгой военной службѣ, и невольно поражало сочетаніе застѣнчивой простоты этихъ большихъ дѣтей съ образомъ дикихъ звѣрей, бросавшихся съ ножами въ зубахъ въ атаку въ страшныхъ битвахъ на Марнѣ.

Война еще была такой непривычно ужасной, что все существо открывалось навстрѣчу новымъ словамъ и переживаніямъ и ранила душу притупившуюся нѣсколько мѣсяцевъ спустя.

Приходили, уходили солдаты. Пустѣли улицы, зажигались огни. День станвалъ до утра, до первыхъ зорь.

Жизнь невольно приспосабливалась къ казармѣ. День распадался на утро, когда надо было спѣшить на плацъ, на послѣ обѣда до выхода изъ казармъ, и на вечеръ до повѣрки, когда торопливыя тѣни запоздавшихъ солдатъ ползли по стѣнамъ, уходя въ темноту.

Впечатлѣнія смѣнялись, не выходя изъ рамокъ войны: цвѣтной бивуакъ отдыхающихъ людей, маневры, переклички, стрѣльба, и смерть и раненія, какъ отзвуки фронта...

---

10 часовъ утра Гудитъ казарма отъ голосовъ. Сквозь рѣшетчатые затворы оконъ видны длинные столы, съ чугунками и круглыми солдатскими хлѣбами.

Пробѣгаютъ черезъ дворъ дежурные, отдаютъ честь, смѣются, показывая сальныя кастрюли, наполненныя бурымъ кофэ. Бррр!..

Вызываютъ очередныхъ мыть судки, чистить картошку.

„Крестовскій! Жена пришла! Иди, я за тебя почищу сегодня.“

„Спасибо. Приходи вечеромъ чаи пить, газеты есть!“

„Идетъ!“

Кончивъ обѣдать, лѣниво расходятся по полю. Раскладываютъ на землѣ шинели, читаютъ полученныя письма, работаютъ.

Пришиваютъ пуговицы, прикрѣпляютъ нашивки, заключаютъ „блестящія“ сдѣлки съ каптенармусомъ.

Брюки, кэпи оцѣниваются, сомнительной чистоты вещи покупаются и перепродаются подъ звонъ добродушныхъ остротъ и неизмѣнныхъ, необходимыхъ ругательствъ.

Среди плаца жгутъ старую солому, отъ которой ползетъ кругомъ душный дымъ, моютъ бѣлье, разливая ручьи сѣренькой жидкости, чистятъ муловъ, напѣвая парижскія пѣсенки.

Плацъ окруженъ узкой уличкой, предѣла которой перейти нельзя. Часовой строго окрикиваетъ забывшихся, то и дѣло поглядывая на военную кантину, въ которую стало обычаемъ удирать, улучивши свободную минуту.

Группа солдатъ окружаетъ подъѣхавшій лотокъ съ яблоками и хлѣбомъ, съ жадностью разбирая куски, чтобы пополнить свой жиденькій обѣдъ.

Торопливо проходитъ начальство, лѣниво отдавая честь; въ струнку вытягивается часовой.

Плачутъ еврейки съ ребятами на рукахъ, причитая надъ мужьями равнодушно поглядывающими по сторонамъ

Жаргонъ, крики дѣтей, французскія шансонетки — все сливается съ русскими пѣснями, широко плывущими сквозь паутинную дымку воздуха

А за оградой свинцовые блики воды въ бахромѣ пожарной акварели осеннихъ красокъ...

Невольно вслушиваешься въ долетающіе отрывки словъ.

„А Сахновскаго-то прикрутили! Сидитъ паренекъ .. Четыре дня брюхомъ маялся, а вчерась насадилъ на вилку мяса кусокъ -- а не ѣстъ; вѣрно, что жилы однѣ — ну и съ лепортомъ къ капитану. Потянули за нимъ ребята тожъ кое-кто, только больше въ хвостѣ жмуть. А онъ, это, лѣзетъ впередъ, да ему подъ носъ то вилку и ткаетъ. Ей Богу, смѣхъ одинъ. А, тотъ, значитъ, „Sacrè nom!“ Кто пустилъ, да по какому праву? Сейчасъ сержанта изъ кухни, хлебалку себѣ принесть велѣлъ: „денегъ сколько, говоритъ, вамъ отпускаемъ, а вы людей жилами кормить?“

„А, между прочимъ, Сахновскаго то и подъ арестъ — не лѣзь голубчикъ, не въ свое дѣло. Четыре дня буатки*) и получилъ.“

—„А ты, чего, какъ баринъ разсѣлся? Завтра то небось за 25 километровъ итти.“

—„Врешь?!.“—„Чего врешь? Рапора не слыхалъ, ворона? Ружья почистить приказъ, чтобы къ стрѣльбѣ приготовиться.“

—„А я вчера всѣмъ имъ носъ утеръ. Изъ 7-ми пуль 6-ть всадилъ. Французъ — онъ стрѣлять не умѣетъ, ну ему и въ диковину!“

У двери въ бюро собралась кучка солдатъ, оживленно о чемъ-то бесѣдующая.

*) „boîte“ -карцеръ.

„Да самъ, говорю тебѣ, видѣлъ. И ранцы и кэпки на цѣлый батальонъ. А завтра мулы и походныя кухни прійдутъ. — Не иначе, какъ черезъ двѣ недѣли и двинутъ.“

—„Такъ ужъ и двинутъ! Ружья-то въ рукахъ держать не умѣемъ... И охота вамъ слухи, какъ блохъ разводить?“

—„Мнѣ что-же! А только писарь сегодня бумагу показывалъ, чтобы черезъ двѣ недѣли всѣхъ генералу на смотръ приготовить.“

„Перекрестись!“

Холодѣетъ сердце, мысли колютъ черепъ, трудно дышать.

Черезъ двѣ недѣли...

А вѣсть ужъ тѣмъ временемъ облетѣла весь плацъ.

Рѣзкій свистокъ внезапно прекращаетъ всѣ разговоры. Въ минуту складываютъ ружья въ козлы, расправляютъ онѣмѣвшіе члены.

Строятся въ ряды рослые, статные...

„Garde à vous!..“

Оборачиваются напослѣдокъ, улыбаются...

Бьютъ часы... 12 ударовъ падаютъ въ душу...

Ушли...

•

5 ч. 30 м. дня. Шаги на лѣстницѣ. Доносятся снизу торопливо брошенныя веселыя привѣтствія жильцамъ и сосѣдямъ... Тяжело стучатъ гвоздевые сапоги по деревяннымъ ступенямъ. Еще этажъ, еще минута.

Загорѣлый, усталый — на порогѣ!

„Ой, жрать хочу! Голодный, какъ песъ!“

Бифштексъ на сковородкѣ газета, наскоро прочитанное письмо

Стараешься узнать по лицу, нѣтъ ли новаго, когда уйдутъ и незамѣтно вывѣдываешь слухи, безчисленные слухи, отъ которыхъ то падаетъ, то выравнивается сердце въ груди.

„Крестовскій!“ слышится подъ окномъ.

„Présent! Идите чай пить!“

Вваливается человѣкъ пять, садятся на кровать, на печку, на окно.

Въ минугу комната наполняется шутками, смѣхомъ, безконечной лентой разсказовъ.

„Тихонъ! Вы какъ сюда попали? Вѣдь Вамъ прививку должны были дѣлать?“

—„А Système D забыли.“

—„Это что такое?“

—Système D не знаете? О Боги! А еще солдатка. Имѣетъ оно русско французское происхожденіе. По французски—Débrouillez vous! Ну, а по русски—чертъ его знаетъ!.. По всѣмъ видимостямъ отъ слова удирать происходитъ. Такъ вотъ, видите, пошелъ я сегодня въ околотокъ"..:

—„Куда-а?"

„Въ околотокъ—то бишь, въ infirmerie—думаете, многимъ отличается одно отъ другого? Да погодите, мѣшаете мнѣ разсказывать. Ну вотъ мажоръ меня сейчасъ и зацѣпилъ:

—„Тифъ былъ?"

Это у меня-то?.. 2 раза былъ! Oh que je suis typhoide, monsieur le Major! Tout á fait tiphoide!!"

—„Quel âge?"

—42 ans, monsieur le Major!"

А послѣ 36—прививокъ не дѣлаютъ. И что же вы думаете? Отпустилъ. Я, значитъ, demi-tour à droite, и айда въ городъ! Цѣлый день прогулялъ. О! Système D—великое дѣло!"

—„А вотъ вы на плацъ сегодня зря не пришли, обращается ко мнѣ, скручивая цыгарку, Ефимычъ—любимецъ эскуада.

—Устроили намъ смотръ. Генералъ тамъ, чертъ его дери, какой-то пріѣхалъ. Выстроились наши ребята, рослые мужики подобрались,—выправка рассейская—красота! А тутъ подвернись, какъ на грѣхъ, въ первый рядъ волонтерчикъ одинъ—Млотокъ по фамиліи. Росту, что оловянный солдатикъ, зеньки впередъ лупитъ, животъ въ себя подобралъ, ружье къ груди жметъ, а на головѣ черный котелокъ цувильный! Такъ,—вѣрно вамъ говорю,—вся линія дрогнула, ажъ генералъ засмѣялся"

—„Да ужъ обрядили, мерзавцы. И когда только équipement придетъ?!"

—„А у Арончика то новые брюки!"

—„Да ну!?"

—„Клянусь вамъ! Иду сегодня мимо кантинки. Стоитъ рыжій, а передъ нимъ каптенармусъ юлитъ."

—Вы, господинъ, не сумлѣвайтесь. Мы васъ одѣнемъ, какъ стекло! Такихъ брюкъ у самого капитана не найти! Снимайте штаны, господинъ.

„Тотъ и останься безъ оныхъ. А тутъ mère-poule откуда ни возьмись. Раскудахталась—ой ой-ой!"

— Qu'est ce que tu fais là, espèce d'andouille, Sacré nom!..

—Je suis de garde, mon capitaine!..

—Va nettoyer les escaliers,chameau!

—Mais je suis sentinelle, mon capitaine... a l'ouvrage...

—А, вотъ онъ—легокъ на поминѣ. Здравствуйте, Арончикъ. Ну-ка поврите чего-нибудь изъ самаго достовѣрнаго источника!."

—„Увѣряю васъ"...

—Знаемъ, знаемъ. Знакомый знакомой вагеместра возлюбленной видѣлъ писаря дежурнаго офицера капитана въ бюро"...

Арончикъ добродушно поднимаетъ глаза изъ-за пенснэ и растерянно смотритъ на меня.

—„Какъ вамъ нравится? Мальчишки! Щенки!..“

—„Арончикъ, разскажите, какъ вы сегодня пенснэ потеряли.“

—„О, я вамъ сейчасъ скажу.“

—„А откуда у васъ новые брюки?“

—„Слушайте, Арончикъ, почему вы такой рыжій?“

—„Я вамъ сейчасъ скажу: мы всѣ рыжіе. У насъ 11 братьевъ и всѣ рыжіе.“

Мы безудержно хохочемъ. Арончикъ, трагически махнувъ рукой, идетъ къ чемодану, въ которомъ сидитъ проснувшійся тѣмъ временемъ Игорекъ, и беретъ радостно улыбающагося мальчика на руки.

Держитъ его бережно, какъ-то необычайно ласково и весь сіяетъ счастливой улыбкой.

Звукъ льющейся на полъ струйки обращаетъ на себя всеобщее вниманіе.

—„Новые брюки! Облилъ разбойникъ!“ въ полномъ восторгѣ вопитъ Кирѣевъ. „Ничего не скажешь, братъ,—военное крещеніе,“ добавляетъ Тихонъ при гомерическомъ хохотѣ всей компаніи.

Арончикъ смущенно улыбается, Игорекъ сіяюще обводитъ всѣхъ глазками, а мы смѣемся до слезъ, безудержно, забывъ о томъ, что на свѣтѣ есть война...

Бьетъ 8 часовъ. Тихонъ досказываетъ о своихъ безконечныхъ удираніяхъ съ плаца черезъ ровъ, задніе ходы, по огородамъ. Клайсъ остритъ. Кирѣевъ ругаетъ французовъ, Майстренко находитъ все и всѣхъ хорошими: —„Люди не плохіе, только природливые. Кто, значитъ, какой характеръ имѣетъ, тому свою природу потерять нельзя, а люди хорошіе, не плохіе люди!“

8 ч. 15 м. Бѣгутъ черезъ весь городъ, какъ ученики, боясь опоздать къ тарре'ю. Комната опустѣла, смѣхъ затихъ. Улыбка съ лица ушла...

Только въ 5 часовъ утра заслышатся зори: подъ окномъ раздастся знакомое, мѣрное разъ, два, разъ, два... Сорвешься съ постели, прильнешь къ окну...

Улыбаются... Ищутъ глазами... Отдаютъ честь...

Прошли.

КИРѢЕВЪ.

„Лида Александровна газетки имѣете“? Слышалось подъ окномъ.

„Имѣю... Поднимайтесь Кирѣичъ!“

Предо мною выросталъ рослый мужикъ широкоплечій, высокій, съ ясными голубыми глазами, то дѣтски раскрытыми, то загоравшимися хитроватымъ огонькомъ.

„Чаю хотите?“

„Да наливайте что ли.“

„Вы что нынче ночи осенней темнѣй? Все на французовъ въ обидѣ?“

„Вы вотъ къ смѣху говорите — а я такъ даже затосковалъ ей Богу. И надоѣлъ онъ мнѣ французишка этотъ, такъ и не дай Богъ Никудышный народъ - право слово. Вотъ съ горя третьева дня письмо отцу писать сѣлъ.“

Кирѣичъ лѣзетъ въ карманъ и достаетъ старательно сложенную и спрятанную бумажку.

„Жизнь моя, говорю, очень отличная. Одѣли, ровно бабу каку. Кофточка до пояса, на груди всѣ пуговицы какъ дыхнешь сшибаетъ. Сапоги солдатскіе — цувильный циплетъ съ гвоздьми а съ гвоздьми-то, чтобы дольше носились.

„Кашкетъ все одно, что картузъ каторжный, на макушкѣ не держится. Одно слово въ газеты критику*) пиши!!.

„Сплю на соломѣ такъ въ ей блохъ - не приведи Господи! То и дѣло перебѣжки дѣлаютъ — и не уловишь!

„Лошадей у француза нѣтъ все больше на ослахъ, да на собакахъ ѣзда идетъ.

„Хлѣба тоже во Франціи нѣтъ. На солдата фунтъ хлѣба въ день выдаютъ. Собачья жизнь!

„А то сегодня объявили намъ, что конфитюру дадутъ. Ну, хорошо. Конфитюру такъ конфитюру. Смотрю несетъ это капралъ миску, а въ ней варенье - персикъ. Началъ одѣлять, каждому по половинкѣ ну еще лишнихъ тамъ 3 осталось. Онъ значитъ и кричитъ „Кто ишо хотитъ?“ Идетъ до меня — а я ему говорю: „неси до капитана — ему не хватило“ - А онъ

*) Прим. авт. - каррикатура.

глаза лупитъ. Киски а, да киски а! (qu'est ce qu'il y a?). Ну ребята ему и передали. То-то смѣху было!

„А то еще намедни — бурсвятъ. Кафу дадутъ послѣ обѣда, да съ ромомъ. Ну, значитъ, ждали... А она кафа самая обнакновенная, и рома въ ей ни капли.

„Нѣтъ — плохо во Франціи. Въ Россіи куды какъ лучше: перво-на-перво — солдату три фунта хлѣба полагается чай, сахаръ на руки. Каждый день каша черная, бѣлая, а третій день рисовая. Спали на койкахъ. Наволочки выдавали, три простыни. Да и тоже сказать солдатъ другой. Французъ онъ дохлый, малорослый — фаброcти въ ёмъ никакой нѣтъ. Ежели бы не Россія, такъ нѣмца ихъ въ три недѣли взялъ бы. Нѣмцу сейчасъ плохо. Почему? Потому что онъ все равно, что птичка. Въ клѣтку посади, она туды, сюды, — ну и забьется. Справа русскіе жмуть, слѣва французъ жметь. А былъ бы французъ одинъ, такъ его полохни — онъ и разбѣжался! Вѣдь на конѣ сидѣть не умѣетъ — ей Богу!

„Вчерась далъ мнѣ капитанъ лошадь подержать. Стою я это и думаю: „Эхъ, далъ бы ты мнѣ его пролепертовать, онъ бы, голубчикъ мой, черезъ заборъ — какъ вѣтеръ скокалъ!"

Кирѣевъ задумчиво глядитъ на свою бумажку и потомъ досадливо прячетъ ее въ карманъ. На лицѣ его выражается глубокое презрѣніе. Черезъ нѣсколько минутъ весь поглощенный „дохлостью" француза передъ русскимъ онъ продолжаетъ развивать свою мысль.

„Вотъ тоже въ газетахъ пишутъ — французъ дескать хвастаетъ, что артиреля у него очень отличная — а что въ ей замѣчательнаго? Ничего! Идея одна, а хварситъ не приведи Богъ... Самолюбцы!...

„Намедни стоитъ это капитанъ — мнѣ эго слова въ морду ыплетъ, ровно горохъ.

„Рансе леполь! Сакре нонъ де дью, шамо!" (Sacre nom de Dieu! chameau).

„Смотрю — дѣло плохо — въ пузырѣ значитъ на меня! Ажно покраснѣлъ весь со злости.

„Стою я передъ имъ, какъ дуракъ, сурьезно этакъ, по расейски, гляжу, а самъ про себя и думаю: Въ Рассеѣ я бы те въ морду далъ, а здѣсь ничаво не сдѣлаешь.

„А онъ завелъ это свою гармонію, раскатился не приведи Господи. И что лопочетъ — не разберешь.

„И смѣхъ и грѣхъ.

„Нѣтъ — мнѣ въ Рассею охота. Ужъ сколько прошло — родныхъ я не видалъ. Да и другого она рода теперь Рассея стала. Городовые то небось на фронтъ посланы да и губернаторы тоже. Довольно имъ пить нашу кровь. Нужно поучить и ихъ тоже, понабирали они большіе пузы, теперь повытрусятъ небось!..

„Кирѣичъ, вы сами откуда будете?"

„Я то? Калужскій!!!“

„Ну а во Францію какже попали?“

„А очень просто... Въ Рассеѣ то я въ гусарахъ служилъ при Николашкѣ и могъ бы въ чинъ пойти. Однажды это пріѣзжаютъ къ намъ великія княжны — и обрати, значитъ, на насъ свое казенное вниманіе! А намъ и не вдомекъ: какъ у солдатъ извѣстно собачья привычка: здравствуйте барышни! говоримъ! А онѣ — да вы развѣ насъ не узнаете? Нѣтъ... А вы кто такія будете?

Великія Княжны!!

Мы это ноги вмѣстѣ и подъ козырекъ — испугались а онѣ сѣли да поѣхали. Да. Такъ вотъ только попуталъ разъ лихой — возьми да и засни я на караулѣ! А тамъ у меня писарь землякъ былъ — „ну говóритъ, плохо дѣло Кирѣевъ — дежурный офицеръ на тебя рапортъ подалъ!“ Я думалъ въ постовое отдѣленіе передадутъ — три раза винился. Къ суду да къ арестантскимъ работамъ. Сталъ я это думать — что жъ такъ и пропадать должóнъ!? Такъ нѣтъ же. Ну а до границы 12 верстъ было! Я и бѣжать. Рассеѣ — до свиданья! Пришелъ въ Берлинъ — пошелъ въ шахты работать, 2 марки 80 пф. вырабатывалъ — а потомъ надоѣло — я и перемахнулъ во Францію — а тутъ война подошла — ну я и заангажовался. Центрофыкатъ*) получилъ — и солдатомъ задѣлался.“

Кирѣичъ медленно допиваетъ чай и, не прочтя свои газетки — очень довольный, что отвелъ душу насчетъ „француза“, уходитъ къ себѣ въ казармы.

Мнѣ вспоминается тотъ же Кирѣевъ, когда два года спустя онъ явился ко мнѣ щегольски одѣтый въ новую форму солдата Восточной Арміи, куда онъ былъ посланъ, въ качествѣ переводчика болгарскаго языка. Куда то исчезла неуклюжая застѣнчивость русскаго мужика, замѣнившаяся по временамъ несвойственной ему ранѣе развязностью, а главное чувствомъ собственнаго достоинства и сознаніемъ, что, онъ величина — и въ Македоніи, пожалуй, не малая. Любопытны чрезвычайно были разсказы его о тамошней жизни — въ которыхъ сказалась и переплелась прямота русской души съ грубоватыми налетами „западныхъ“ вліяній.

„Вотъ интересно, какъ мы шпіоновъ ловили въ Монастырѣ, начиналъ онъ обычно съ глазами то дѣтски, то хитро смѣявшимися въ глуби зрачка.

*) certificat

Бывало ночью лежишь, а тутъ телефонъ. . . Прислать переводчика . . .

А чортъ тебя возьми совсѣмъ!

Берешь лошадь, ѣдешь верстъ за 30. Смотришь уже человѣкъ 30 жандармовъ сербскихъ, 40 французскихъ на лошадяхъ стоятъ, ждутъ. Шпіоновъ ловить, значитъ.

Ѣдемъ. Пріѣзжаемъ къ турецкому дому. Окружили со всѣхъ сторонъ—обыскивать. Спрашиваетъ капитанъ: „А тамъ у тебя что за комнаты?"

„А тамъ бабы!"

„Гони ихъ вонъ!"

А у нихъ, значитъ, по закону не полагается на женскую половину ходить, ну турокъ и отказывается.

Сейчасъ двери выламываютъ, бабы бѣгутъ, кричатъ: Аллахъ, Аллахъ, Магометъ! Какъ горохъ посыпали.

Такъ, вы знаете, жандармы-мерзавцы раздѣвали до нага, —обсматривали бабъ. Я имъ говорю: у васъ есть бабы-жандармы, пущай они обсматриваютъ, а вы чаво обсмѣиваете бабъ!

А ты что, говоритъ, ты переводчикъ, а не комендантъ намъ!

Ахъ такъ, говрю—я те покажу переводчика!

Пріѣзжаемъ обратно—я къ полковнику съ рапортомъ: такъ и такъ, молъ, деньги жандармы берутъ, бабъ обсмѣиваютъ.

Такъ онъ нажарилъ жандармскаго капитана, отшибъ охоту, ей Богу!

Да, было дѣло. А ла . . . ла . . . ла . . . ла . . .

Кирѣевъ закуриваетъ потухшую цыгарку и продолжаетъ „А могъ я заарестовать кого хотѣлъ Потому переводчикъ — языкъ понимаю — ну такъ у меня права какъ бы у сыскной полиціи. Если бы самъ генералъ, или полковникъ шелъ и безъ бумагъ, я могъ съ собой забрать... И не можетъ отказываться... Должонъ итти. А то бывало на овецъ походъ дѣлали. Тамъ овцу достать трудно. Триста франковъ платить надо, если покупать. Такъ я говорю капитану: забирать надо, не платить же такихъ денегъ; ну онъ, значитъ, тарифъ и назначилъ — 17 фр. за штуку.

Идемъ къ македонцу.

„Давай овцу!"

„Не отдамъ!"

„А, не дашь?"

Сейчасъ карабинъ, вымаешь на ево! Бѣжитъ, овцу связываетъ. Берешь. Ну какъ ее тащить за 30 верстъ, не на себѣ вѣдь? Сейчасъ на дорогу... ждешь. Идутъ македонцы съ телѣгами, съ работъ. Сейчасъ къ нимъ.

„Бумаги имѣете?"

А... нѣтъ? Айда со мной въ жандармерію!" .. Овцу, значитъ, на телѣгу и пошли.

„А почему имъ не позволяли тамъ безъ бумагъ ходить?"

„А потому шпіоновъ масса. Сигнализацію давали булгарамъ, карты снимали. Только трусъ-народъ. Какъ чуть хвостъ поджимаетъ!

Да, надѣлывалъ тамъ дѣловъ. Иной разъ самому жалко становилось...

И все это разсказывается съ добродушной дѣтской радостью ребенка, который игралъ въ солдатики и изображалъ генерала.

Изумительное чувство честности, заставлявшее его вступиться за турецкихъ женщинъ, сочеталось съ добродушной насмѣшкой надъ несчастнымъ македонцемъ, котораго онъ засаживалъ на 18 сутокъ подъ арестъ для того, чтобы отвезти свою овцу на мѣсто назначенія...

Мнѣ хочется закончить главу о Кирѣевѣ личной ноткой личнаго воспоминанія, безъ котораго неполнымъ остался бы образъ этого мужика, умѣвшаго такъ по простому, такъ по хорошему любить.

Въ концѣ 1914 г., когда снарядомъ были убиты 4 товарища, среди которыхъ мой мужъ, Кирѣевъ, похоронившій ихъ, долго молчалъ, а потомъ сталъ мнѣ писать. Вотъ эти то нѣсколько первыхъ его словъ, мнѣ и хочется привести въ ихъ прямой и такой настоящей правдѣ:

Милая моя Кристовская. Не писалъ я вамъ потому что отъ горя не могъ. Но прошу я васъ не горюйте. Что жъ! знать такая ваша судьба. Могилка ихняя на хорошемъ мѣстѣ и при дорогѣ, и начала обрастать травой. Я рѣшилъ болѣе ничего на ней ни дабувлять и ихъ покойныхъ не тревожить. Я здѣлалъ магилку харошаю и положилъ рядомъ ихъ и каждый вечеръ ходилъ и плакалъ. — За что мы страдаемъ? И прошу я васъ, не горюйте, моя Кристовская.

Кирѣевъ.

МАЙСТРЕНКО.

„Ближе брата онъ мнѣ родного Кирѣевъ — и такъ это въ душу взошелъ — что даже диво самому на себя, ей Богу!"

На меня смотрѣли голубые ребячьи глаза. Огромный, сильный — Майстренко шелъ необыкновенно въ pendant къ Кирѣеву. Это были два неразлучныхъ друга. Оба прямые, честные они продѣлали половину кампаніи, не разставаясь, вмѣстѣ, извѣстные въ полку, какъ рѣдкіе работники и прекрасные вѣрные товарищи.

Кирѣевъ болѣе хитроватый и умный мужикъ любилъ Майстренко, какъ меньшого брата — Майстренко же всей душой привязавшійся къ своему другу — окутывалъ его какой то почтительной дружбой. И странно было глядѣть на этихъ двухъ сырыхъ черноземныхъ мужиковъ, вырванныхъ изъ самой глуби Россіи, одѣтыхъ одинъ — въ щегольской костюмъ авіатора, отнимавшій всю его неуклюжесть, другой — въ новый костюмъ защитнаго цвѣта — и брошенныхъ во Францію на пятилѣтнее сожительство съ „дохлымъ французишкой!"

Странно было слушать безконечную критику Кирѣева на все, что дѣлалось во Франціи смѣнявшуюся ровнымъ улыбавшимся голосомъ Майстренки, находившимъ все и всѣхъ и повсюду хорошими. Хорошій народъ, не плохой. Не видалъ я, чтобы острый характеръ имѣли! Не плохой народъ!...

Майстренко — хохолъ уроженецъ Екатеринославской губерніи также, какъ и Кирѣевъ, русскій дезертиръ и также неожиданно, какъ и онъ, очутившійся за-границей.

„Будучи на военной службѣ, еще 20 ти лѣтнимъ мальчишкой купилъ это я однажды часы поломанные, и отдалъ починять. А часы то и оказались краденными, казенными. Что часы я перекупилъ, что солдата, у котораго были они взяты, имени я не зналъ — доказать я не смогъ, а тѣмъ временемъ городской голова меня и задержи и преслѣдованію подвергни. Испугался тюрьмы, что грозила, сбѣжалъ изъ городской канцеляріи въ казармы, взялъ деньги, да по лѣстницѣ и айда! А тутъ дежурный барабанщикъ встаетъ: „Гдѣ Майстренко, солдатъ?" — „Есть, отвѣчаю, солдатъ, — въ третьей комнатѣ направо."

А самъ затрусился весь. Дѣло серьезное, коли разыскиваютъ. Тронуло что-то мнѣ сердце и толкнуло, какъ бы бѣжать,

котораго настроенія у меня никогда не было. Напрямикъ на вокзалъ, да на тормозъ товарнаго поѣзда на всемъ ходу и вспрыгнулъ. Дѣло то было въ февралѣ 1911-го года. Холодно. Снѣгъ. Ѣхалъ, ѣхалъ — да на первой станціи слѣзъ. Пошелъ къ стрѣлочнику, погрѣлся, попросилъ одну старуху, чтобы билетъ купила мнѣ до Москвы, да и покатилъ. Вышелъ съ вокзала, пошелъ на толкучку, купилъ себѣ платье штатское, да чрезъ Вязьму въ Варшаву. Не доѣзжая Брестъ-Литовска — какъ безъ билета я былъ, то задержалъ меня оберъ-кондукторъ, да и отдалъ солдату, чтобы караулилъ. А тотъ то чуть развѣ не засыпаетъ. Спросился я выйти, да на полномъ ходу и соскочилъ. Близко отъ Брестъ-Литовска то было. Стемнѣло. Таялъ снѣгъ. Иду это въ водѣ, мѣсто, какъ бы сказать, болотистое. Смотрю вокзалъ. Три жандарма. Вровень какъ ловушка. Я, значитъ, обратно къ стрѣлочнику и тамъ просидѣлъ до 6 часовъ утра, потомъ уѣхалъ въ Варшаву — Млаву. Изъ Млавы пѣшкомъ черезъ лѣсъ къ границѣ. Лѣсокъ не густой — иду это и вдругъ часовой на счастье спиной ко мнѣ — пригнулся я, значитъ, къ землѣ да и обратно. Кое-какъ границу перешелъ. А тамъ ужъ нѣмецкій вагонъ. Вокзалъ германскій. Сижу голодный, какъ волкъ, а въ карманѣ денегъ 57 коп. Взялъ себѣ пиво, хотѣлъ переночевать, да не дали. Пошелъ въ ночлежный домъ. А на утро сталъ на выгрузкѣ вагоновъ работать. Потомъ на полевыя работы пошелъ, а тамъ и по спеціальности своей кузнецомъ въ Люксембургъ устроился, и пошло мое бродяжье житье. Въ Данію поѣхалъ, въ Шотландіи въ шахтахъ 15 мѣсяцевъ работалъ, на вольныхъ копяхъ былъ — а оттуда ва Францію да какъ разъ подошло къ 17-му іюлю 1914 года. Глядишь и война. Поѣхалъ въ Парижъ и заангажовался.

Да... только все проходитъ, какъ бы оно и не было... Вотъ и война, кажись, ужаса какого навидался — а нѣтъ — тоже прошло, какъ бы оно и не было.

„Гдѣ вы ранены Ефимъ, были?"

„А на Соммѣ несли мы подъ огнемъ 4-хъ раненыхъ. Бранкордьеромъ меня мажоръ къ себѣ взялъ. Человѣкъ онъ какъ бы задержанный былъ — сразу къ себѣ не подпускаетъ, а самъ подозрительный. Видитъ, хорошій солдатъ, приглядѣлъ, ну и отобралъ къ себѣ въ батальонъ. Вотъ, значитъ, построили взводъ — идемъ. А нѣмцы возьми, да и открой огонь — можетъ и не по насъ то было — а такая минута у нихъ пришла, значитъ, палить. Мы ворочаемъ. Въ перевязочный пунктъ. А артиллерія давай огонь удлиннять. Иду я, а самъ нѣтъ, нѣтъ обернешься, потому — въ спину жарятъ. Снаряды летятъ — какъ жуки, какъ камушки въ ровъ кругомъ падаютъ. Холодно, самъ дрожишь — отъ холода-ль отъ страха-ль и самъ не пойму. Только вижу сержанта нашего подняло въ воздухъ — духъ отняло. Былъ убитъ нашей же torpille. Грустно такъ это иду, а тутъ вдругъ

въ спину какъ шпануло — ну я и упалъ въ яму. Самъ думаю чья сила, значитъ, пропадаетъ? Моя,— и такъ это не охота мнѣ умирать...“

„Не охота мнѣ умирать.“ Развѣ вязалась смерть съ этой сильной улыбкой, подъ которой сверкали зубы крѣпкіе, какъ у грызуна, съ мощными руками, выносившими подъ огнемъ, какъ безпомощныхъ дѣтей — убитыхъ и раненыхъ.

Майстренку любили въ полку всѣ безъ единаго исключенія. Всѣ знали, что нѣтъ болѣе вѣрнаго человѣка, что тамъ, гдѣ нужна сила и работа, первымъ вызывался итти онъ. И никогда не была никакая работа за другихъ ему тягостной, и никогда не смотрѣлъ онъ на сдѣланное, какъ на жертву.

Майстренко умѣлъ любить. И любовь въ немъ жила тихая, не громкая, неожиданной — землею и травами пахнущей — поэзіей проникнутая.

Онъ рѣдко говорилъ о томъ, что любитъ, какъ любитъ... Только грѣлъ глазами открытыми, широко смѣющимися. И только въ письмахъ вдругъ прорывалась она тихая, полевая и русская.

„Какъ я уѣхалъ отъ васъ, Ласточка моя родная,— писалъ онъ мнѣ съ фронта въ Парижъ, такъ затосковалъ и самъ не знаю чего. Сердце мое кровью заливается и только мнѣ на ухо шепчетъ — что вы ко мнѣ такъ близки и такъ мнѣ любы стали, какъ въ полѣ стеблю чахлому мила сыра земля. А какъ уѣхалъ отъ васъ, то точно я на другомъ свѣтѣ нахожусь, тянетъ, будто къ родной мамѣ малаго ребенка и посмотрю, то и дѣло на ваше благословенье, что хранится у меня на груди, на которое я надѣюсь, что оно меня спасетъ и поможетъ мнѣ обратно съ вами встрѣтиться и послушать отъ васъ вашихъ „гадостей“, что я болтушка, по которымъ „гадостямъ“ я очень соскучился и которымъ я очень радъ.“

А то, разъ, такъ просто открытка пришла. Короткая.

„И скучаю по васъ и по вашихъ гадостяхъ!“

Въ этомъ громадномъ солдатѣ, въ рукѣ котораго утопалъ мой крошечный Игорекъ,— чувствовался мальчикъ, хорошій,— наивный и страшно настоящій, страшно русскій.

„Сижу надъ рѣкой, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. Рѣка протекаетъ въ тѣни деревьевъ, наравнѣ съ берегами, чуть-чуть выше — не разольется. По бокамъ большая трава и разбросаны большія деревья между этой травой. И вспоминаю мою родную мѣстность въ Россіи. Умирать не охота — спѣшить въ траншеи нечего, и героя противъ пуль не нужно ставить изъ себя. Жизнь дорогая.“

Передо мной стоитъ маленькая солдатская зажигалочка изъ нѣмецкой мѣди, разрѣзной ножикъ гравированный, длинная чудная ваза изъ 75, а надписи на нихъ трогательныя и наивныя переплетены съ суровыми, короткими именами... Verdun...Santerre... Somme...

И жутко смотрѣть — и радостно.

Шумно на улицахъ... Шумомъ нерадостнымъ. Жуткимъ.

Лица тревожныя — голоса негромкіе.

Холодно. Змѣйкой стальной
сердце обвилось.

„Ce soir même... à quatre heures! L'ordre est venu dans la nuit! Ah, quelle misère, Seigneur, quelle misère!"

113-ый полкъ уходитъ въ 4 часа.

Шумно въ городѣ... Шумомъ
нерадостнымъ. Жуткимъ.

Волнуется масса пестрая, плывучая. Точно тѣло ртутное то разъединяющееся, то компактно сливающееся — идетъ толпа.

Впереди на коняхъ генералы — а за ними несется гулъ. Барабанщики, музыканты оглушаютъ... Бьютъ. Поютъ. И впиваются въ мозгъ пѣсни веселыя, ежедневно знакомыя, каждую складку души собою проникшія:

„Madelon, Madelon, Madelon..."

Нестройно идутъ солдаты. Ряды перевиты женщинами. Съ тротуаровъ по пути вплетаются, обнимаютъ, прижавшись идутъ. Плачутъ. Смѣются. Поютъ.

Chant de départ. Густо каймитъ по краямъ толпа. Дѣвушки цѣлуютъ, матери обнимаютъ.

Солдаты поютъ. Всѣ поютъ.

Цвѣты на ружьяхъ, за поясами, цвѣты въ рукахъ.

Идетъ толпа, слезы смѣхомъ покрывающая, смѣхъ съ рыданьемъ сливающая.

—„Что случилось?—Откуда въ такой часъ?“

—Вырвался... на минуту... Завтра идемъ...

—„На фронтъ?“

На фронтъ... Точно желѣзные затворы въ душу спустили. Ни шума, ни звуковъ, ни боли. Анестезія какая-то. Потомъ, послѣ будетъ больно, очень больно, а сейчасъ все сильнѣе растетъ холодящая морозная струйка и подъ ней сердце умираетъ.

Душа бѣлая стала... Нѣтъ слезъ. На фронтъ... Точно точку поставили, а за ней нѣтъ ничего.

Плацъ гудитъ. Всѣ ходятъ, бродятъ. Устраиваютъ мюзетки, нашиваютъ галуны на новыя, только что розданныя формы. Чистятъ ружья, равняютъ пушки, выносятъ на повозки походныя кухни.

Шумъ голосовъ, визгъ телѣгъ, рѣзкіе крики муловъ.

Плацъ гудитъ..

А душа, какъ во снѣ.

Застыла.

— „Да погодите! Постойте! Товарищи, вѣдь это настоящая атака!“

Меня окружаютъ кольцомъ.

Всѣ цвѣты, которые можно было найти въ Блуа, я взяла и, съ трудомъ удерживая въ рукахъ зеленое цвѣтное море, пришла на плацъ. Въ секунду безудержно расхватали, разобрали, вырывая изъ рукъ.

— „Э-ла! Назадъ! — Казацкое отродье! Цыганы бродячіе! Назадъ, говорю!“

Желѣзная рука схватила меня и въ секунду образовала кругъ — пространство между мной и солдатами.

Совершенно оглушенная я стояла, крѣпко прижавъ къ груди оставшіяся вѣтки темныхъ хризантемъ.

„А это намъ — отстоялъ таки для моихъ дѣтей!“

Капралъ Жандека — muletier — охвативъ меня кольцомъ рукъ, тихо проталкивалъ среди успокоившихся солдатъ впередъ къ муламъ.

„На счастье дайте — мнѣ не досталось! На счастье — розу! А то убьютъ! — Одну розу!“

Ко мнѣ тянулась черезъ головы рука съ глазами такими грустными.

За поясомъ я несла розы — своему любимому...

„На-те — вѣрно спасетъ".

Жандека свѣтло сіялъ. Мулы стояли нарядные. Длинныя вѣтки хмѣля, осеннія, багряныя перевили ихъ шеи. Красныя георгины въ упряжи.

Жандека свѣтло сіялъ.

4 часа. Свистокъ. Послѣдній.

Стройно стали въ ряды, огромные, рослые, плечо къ плечу. — Тихо стало.

„Разъ, два, разъ, два! Маршъ!"

И понеслась надъ французскимъ городомъ, надъ молчаливой толпой, стѣнами стоявшей, — пѣсня русская — широкая.

Ни шутокъ, ни слезъ. Сила жуткая и гордая въ шагѣ мѣрномъ. Улыбка свѣтлая — на лицахъ загорѣлыхъ.

Вокзалъ...

— „Не пускаютъ — нельзя!"

„Eh, mon vieux! On dirait que t'as pas de gosses - toi! Laisse passer! C'est pas une blague!"

Меня поднимаютъ чьи то руки, переносятъ черезъ заборъ. Прошли...

Вагоны. Много ихъ... Товарные .. à bestiaux...

Въ окошечкахъ рѣшетчатыхъ лица родныя, милыя. Сгрудились. Голова къ головѣ.

Больно въ груди, рухнули створы въ душѣ. Слезы пришли. Больно какъ... Больно въ груди.

Крошечная ручка дѣвочки благословляетъ солдатъ, что головы обнажаютъ... А въ ушахъ звучитъ послѣдняя — самая послѣдняя на цѣлую жизнь фраза:

„Не грусти, дѣвочка, мы на радостное дѣло идемъ!"

Поѣздъ пошелъ. Лица сливаются — всѣ свои. А изъ первыхъ вагоновъ пѣсня несется — подхватывается и валомъ катится:

„Тихо вагоны ушли отъ платформы,
Скрывшись въ туманной дали;
Скромно одѣтыхъ въ защитныя формы
Разныхъ людей увезли..."

Увезли... Ушли...

21-го октября.

Я уѣхала въ Парижъ. Втеченіе всего пути отъ Блуа до Парижа — вереницы поѣздовъ, наполненныхъ ранеными, въ зеленыхъ гирляндахъ, съ надписями: „A bas Guillaume et le petit rejeton! Dans 14 jours à Berlin, etc“ ...

Парижъ измѣнился страшно. Война глядѣла, кричала съ тротуаровъ, изъ темныхъ трамваевъ съ синими лампочками, съ затушенныхъ огней вывѣсокъ, съ глухихъ выкриковъ автомобильныхъ гудковъ.

Люди безъ ногъ и безъ рукъ, съ болтающимися взамѣнъ крестами на груди; люди съ подштопанными — иногда умѣло, иногда до жути топорно — лицами; люди, когда-то служившіе лакеями, которыхъ небрежно окрикивали въ кафэ парижане, теперь проходили между почтительно разступившимися рядами, только потому, что на нихъ было голубое сукно, прикрывавшее покалѣченные волею судьбы члены.

На одной изъ главныхъ улицъ Латинскаго квартала калѣка на деревянной ногѣ скачетъ прыжками безобразными, жуткими отъ прохожаго къ прохожему съ протянутой шапкой въ рукахъ. Получивъ милостыню, онъ механически поворачивается на деревяшкѣ и съ каменнымъ лицомъ, не говоря ни слова, направляется къ другому.

Многіе подаютъ, многіе проходятъ мимо; но ни одна женщина въ траурѣ не забываетъ положить свою монету.

Въ метро, обычно такомъ шумномъ, — тишина. Рѣдко кто перекинется словомъ, и женщины въ длинныхъ вуаляхъ, такихъ новыхъ и черныхъ, въ синей рамѣ глазъ и усталыхъ морщинъ кроютъ безсонныя ночи и непроплаканную неотступную боль. А рядомъ, рѣзкими пятнами врывается улица.

Кокотка съ рыжими волосами, сильно накрашенная, съ холодными глазами, въ красномъ платьѣ, цинично вызывающая... а вокругъ трауръ и скорбь.

Дѣти играютъ въ войну. Какая-то зараза пороха виситъ въ воздухѣ. Дѣвчурку 5-ти лѣтъ ребята окружили съ криками

„La boche — une boche!“. Проходившая мимо женщина взяла крошку на руки и видно было, какъ малыя ручки судорожно вцѣпились ей въ шею.

На Парижскомъ кладбищѣ, въ окрестностяхъ города, гдѣ смѣшано похоронены французы и нѣмцы, проходитъ господинъ и плюетъ на могилу нѣмца. Вслѣдъ за нимъ къ той же могилѣ подходитъ женщина и на мѣсто, на которое только что плюнулъ прохожій, кладетъ нѣсколько вѣтокъ живыхъ цвѣтовъ.

Парижъ военнымъ сердцемъ и военными глазами жадно прислушивается къ фронту.

А фронтъ оторванный, кровавый посылаетъ свои отзвуки въ холодныхъ телеграммахъ, какъ стенограмма мертвыхъ и краткихъ.

Больно въ груди. Пусто... Точно точку поставили... Житъ надо... Какъ-же жить, какъ-же?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

...УШЛИ...

И я стала жить, какъ всѣ, въ ожиданіи конца.

Точно перерѣзали на́-двое жизнь и сказали: вздохнешь всей грудью, когда на утреннихъ листахъ газетъ не будетъ чернаго узора 8-ми буквъ: „La Guerre,“ когда не станетъ новыхъ словъ, вошедшихъ въ жизнь и сдѣлавшихся ея частью, длинныхъ ночей съ душными снами, смерти и раненій—Войны.

Какъ-же жить?...

Какъ для тѣхъ, кто ушелъ стать въ ряды, потому что внѣ фронта жизни не было, такъ для насъ, оставшихся, стало непреложно необходимымъ врости въ общую рать, сплестись съ жизнью, отъ которой насъ отдѣляло лишь нѣсколько сотъ верстъ. Эта жизнь билась глухо, какъ сердце въ груди, но біенія доносились и отдавались ударами тяжелыми, глушащими. И не откликнуться не стало возможнымъ.

Мысль бродила, металась, искала, какъ вплести женскія силы, безпомощно и безсильно оставшіяся за чертой, въ огромную жизнь, какъ вулканъ забившуюся, тамъ, далеко, на большомъ кускѣ земли, что назвали холоднымъ, короткимъ словомъ—„фронтъ.“

И постепенно этотъ безъимянный фронтъ сталъ доносить свое эхо. Одинокіе голоса бездомныхъ и чужихъ Франціи людей, чьи близкіе чаще всего не знали, что дѣти ихъ стали солдатами, зазвучали случайно, разрозненно въ сѣрыхъ клочкахъ тетрадочныхъ листковъ, на спѣхъ карандашными строчками забросанными. Они доносились отзвукомъ то трогательнымъ, то тревожнымъ и всегда волнующимъ и жгущимъ душу, до насъ чужихъ и ставшихъ близкими.

И въ отвѣтъ имъ сорганизовалась ячейка, быстро выросшая въ общество помощи русскимъ волонтерамъ подъ французскими знаменами, куда я и вошла секретаремъ военной секціи.

Это было въ іюнѣ 1915 года.

Въ этотъ моментъ волонтаріатъ въ цѣломъ являлся безъимянной массой, гдѣ извѣстными были лишь имена товарищей „республиканцевъ,“ помощь которымъ была сорганизована группой эмигрантовъ—ихъ близкихъ друзей. Имъ и были разосланы первыя воззванія о новомъ обществѣ, чужомъ и никому еще невѣдомомъ, какъ-то вельмую стоявшемъ въ Парижѣ—за чертой.

Мнѣ вспоминаются безконечные разговоры о томъ, какъ распространить воззваніе въ массѣ добровольцевъ, какъ получить ихъ имена и установить съ ними контактъ.

Контактъ установился немедленный, тѣсный. Фронтъ откликнулся пестрый, разноликій, разными словами, безконечно разными по формѣ и всегда едиными въ основѣ своей.

Я оказалась передъ фронтомъ огромнымъ и длиннымъ, на которомъ раскинуты были люди, исхолодавшіеся и истосковавшіеся по какому-то одному центру, въ который можно было стекаться, по одной двери, въ которую можно было всегда и со всѣмъ постучаться. Волной хлынула душа человѣческая, всякая по своему, всякая свое искавшая.

Люди писали потому, что потребность говорить и дѣлиться была страшно велика, потому что въ письмѣ попадалась фраза: „Пишите мнѣ, какъ къ другу, какъ къ близкому товарищу," потому что книга желанная и жданная была быстро послана, потому что бумага голубая и тонкая, на которой писаны были мои письма, будила въ душѣ какія-то интимно-внутреннія воспоминанія...

Люди писали по-русски, по-французски, на ломаномъ полу-русскомъ, полу-французскомъ нарѣчіи, писали интеллигентски и безграмотно, смѣшно и тоскливо, писали о спичкахъ, о трубкахъ, о книгахъ, о семьяхъ, обо всемъ, что пріобрѣло за нѣсколько мѣсяцевъ такую незнаемую раньше цѣнность.

„Я пришелъ разсказать вамъ свое сердце"...

Такъ начиналось одно письмо. И всѣ эти кусочки замусоленной, сѣрой бумаги, на которой не разъ оставались пятна дождя, размокшей земли и траншейной грязи — несли, каждый по своему, каждый по разному, сердце человѣческое. И отвѣты писались такіе же простые, какъ тѣ отношенія, что создала война.

Съ фронтомъ установилась тѣсная, близкая связь. Письмо за письмомъ роднило, спаивало и постепенно образовалась огромная солдатская семья, интересы которой стали своими — неотдѣлимыми. Этотъ раненъ, второй убитъ, третій взятъ въ плѣнъ, четвертый произведенъ въ сержанты: все это держало душу въ вѣчномъ напряженіи и создавало простоту отношеній человѣческихъ, невѣдомыхъ до войны.

Благодаря письмамъ и встрѣчамъ, благодаря почти 5 тилѣтней слитной жизни съ этой новой и ставшей такой кровно родной семьей — передо мной проходила день за днемъ жизнь малой части фронта, на которой разбросаны были русскіе добровольцы.

Какъ кинематографическая лента она разворачивалась передъ глазами со всѣми своими большими и малыми горями и незамѣтными, тихими радостями.

Передать эту жизнь, разсказать тѣ условія, въ которыя попали добровольцы съ момента своей записи въ Легіонъ, дать обликъ пусть неполный, пусть обрывный, но всегда правдивый той аморфной и многоликой массы, что представляетъ собою Русскій Добровольческій отрядъ во Франціи — моя задача.

Наши были на фронтѣ. Точно желѣзный засовъ упалъ, и за нимъ заглушенные раздавались, — прорываясь сквозь него, голоса.

Въ тотъ моментъ никакого общенія съ солдатами, лишь мечтавшими о пріѣздахъ въ Парижъ, объ отдыхѣ, не было. И съ настороженной жадностью читалось всякое письмо — своего, чужого, каждаго, кто былъ тамъ и кто писалъ оттуда.

Постепенно неясно, смутно выростали изъ писемъ рамки жизни Иностраннаго Легіона съ врошенными въ него такъ жестоко и необдуманно русскими жизнями.

Вотъ эту жизнь пережитую, запавшую въ душу — ставшую своей, родной, неполно и коротко хочется мнѣ разсказать.

Первой ячейкой, создавшей духовный центръ, идейный авангардъ русскаго волонтаріата явилась Республиканская группа о которой я упоминала вначалѣ.

Въ нее вошло 75 человѣкъ, исключительно соціалистовъ, по преимуществу старыхъ эмигрантовъ, уже съ давнихъ поръ проживавшихъ во Франціи. Эти люди, насчитывавшіе въ прошломъ долгіе годы тюрьмы и Сибири, пошли на войну, какъ въ свое время шли на баррикады. Для нихъ война стала лозунгомъ революціи, этапомъ на пути къ завоеванію революціонныхъ достиженій.

Любопытной характеристикой Республиканской группы, позволяющей судить объ ея идейной цѣнности, является таблица со статистическими данными, касающимися каждаго изъ ея участниковъ. Я привожу ее цѣликомъ въ концѣ книги.

Я не стану останавливаться на такихъ фигурахъ среди республиканцевъ, какъ Степанъ Николаевичъ Слетовъ, Золотаревъ и т. д. О нихъ много писали, ихъ письма, въ которыхъ ярче всего выявилось отношеніе къ войнѣ вообще и къ данной войнѣ въ частности, печатались въ отдѣльныхъ брошюрахъ и цѣломъ рядѣ статей, посвященныхъ ихъ памяти. Я скажу лишь нѣсколько словъ о тѣхъ, кого знала лично, и чья смерть врѣзалась въ душу — какъ смерть братьевъ, родныхъ и любимыхъ.

Давыдовъ...

Его сильно подорвали нѣсколько мѣсяцевъ военной службы. Въ осѣвшей фигурѣ, вытянутомъ худомъ лицѣ, черной съ просѣдью бородѣ, темныхъ глазахъ съ проникающимъ въ душу

взглядомъ можно было прочесть большія страданія и стальную волю.

Человѣкъ безупречной честности, принципа, логики, Давыдовъ, о чемъ бы онъ ни говорилъ, заставлялъ себя слушать. Онъ говорилъ медленно, не плавно, подыскивая выраженія, но въ голосѣ его слышалась искренность, теплота, и слова, что съ трудомъ приходили на языкъ, западали въ душу глубоко, надолго.

Михаилъ Давыдовъ, или какъ его называли Михаилъ Грузинъ, былъ высокій, полусѣдой человѣкъ, съ умнымъ, нѣсколько суровымъ лицомъ.

Глубоко убѣжденный антимилитаристъ, пасифистъ въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, Давыдовъ въ то же время пользовался славой безумно смѣлаго человѣка. Признанный негоднымъ къ строевой службѣ и назначенный въ территоріальный полкъ, онъ добился своего немедленнаго перевода въ активъ, въ первыя линіи. Когда французскіе капралы, обязанные выходить и стоять у траншей подъ градомъ пулеметнаго огня, не рѣшались или отказывались выходить, Давыдовъ, чтобы показать примѣръ или заставить другихъ сдѣлать то же самое, въ минуты сьумасшедшей опасности, стоялъ на гладкомъ мѣстѣ, на виду у нѣмцевъ подъ страхомъ ежеминутной смерти.

Вопросъ о томъ, какъ сочетать въ душѣ моральную необходимость принимать участіе въ войнѣ, съ убійствомъ своихъ же ни въ чемъ неповинныхъ братьевъ мучилъ его, по словамъ товарищей, остававшихся до конца съ нимъ,— непрестанно, глубоко.

Въ день смерти онъ направился къ непріятельскимъ траншеямъ, подошелъ на разстояніе полутора метра и сталъ бросать ручныя гранаты. Онъ былъ убитъ наповалъ. Давыдовъ — простой капралъ, похороненъ въ деревянномъ гробу съ офицерскими почестями.

Такою же смертью погибли Надинеръ и Гладкихъ. Первый — стоя на парапетѣ, до послѣдней минуты оставаясь на своемъ посту, второй, подъ безумнымъ огнемъ, подъ страхомъ неминуемаго конца, продолжая дѣлать réglage de tir, и слѣдя за тѣмъ, куда падаютъ снаряды.

Также умеръ Николай Васильевичъ Сапожковъ — Кузнецовъ, всегда добровольцемъ шедшій въ самые опасные патрули. Въ одну изъ такихъ развѣдокъ онъ съ 6-ю товарищами вызвался итти. Но, чувствуя опасность, оставилъ ихъ на пути и ушелъ одинъ впередъ.

Ему не дано было вернуться назадъ...

Вереницей проходятъ силуэты: Половъ, Богушко, Александровъ, Федоровъ Михаилъ, Зеленскій, Тодосковъ, Швецовъ, Померанцевъ, Яковлевъ — всѣ лучшіе, самые свѣтлые.

А изъ оставшихся въ живыхъ много, много если найдутся

два, три человѣка не бывшіе по 2, по 3 и по 4 раза ранеными, и не награжденные крестами и медалями за храбрость.

Такова общая физіономія Республиканскаго Отряда. А за нимъ стоитъ то, что называется русскимъ волонтаріатомъ, то есть сѣрой массой солдатъ, въ количествѣ 4500 человѣкъ. Среди нихъ довольно большой процентъ составляла интеллигентная публика, часто не эмигрантская - писатели, художники, музыканты и т. д., которые не вошли въ республиканскій отрядъ и тѣмъ не менѣе пошли въ добровольцы исключительно по идейнымъ соображеніямъ. Но какъ бы ни великъ былъ этотъ процентъ, онъ терялся въ 3000-ной массѣ такъ называемыхъ „бастильцевъ", т. е. рабочихъ и ремесленниковъ, жившихъ въ довоенный періодъ въ бѣдныхъ кварталахъ Парижа, прилежащихъ къ Бастиліи. Среди нихъ встрѣчаются портные, каскетники, жестянщики, коммерсанты, цирковые акробаты и наѣздники, маляры и садовники.

Какіе же мотивы заставили этихъ людей пойти въ ряды арміи не будучи къ тому ни чѣмъ принужденными, и добровольно обрекшими себя почти на вѣрную смерть?

Мнѣ часто приходилось задавать этотъ вопросъ солдатамъ, пріѣзжавшимъ ко мнѣ въ отпускъ, и отвѣты звучали простые, какъ правда.

„Я резервистъ въ Россіи . Такъ я думалъ, а если никто не пойдетъ въ волонтеры -- это будетъ хорошо? Я пошелъ въ волонтеры, потому такое мое было убѣжденіе..."

„Всѣ пошли кругомъ — развѣ можно было оставаться?"

„Я ангажовался по своей волѣ, потому что любилъ Республику... А вотъ Кандель пошелъ, потому что сосѣди пожирали его. Цѣлыми ночами онъ молился и по-еврейски читалъ, чтобы отняло руки и ноги у него, только бы вернуться домой. Жена у него была и двояшки. И вотъ, когда я ползъ раненый въ poste de secours, я нашелъ его мертвымъ на землѣ. Холоднымъ уже. Давно, значитъ, убитъ. Какъ увидѣлъ его, такъ судорога по тѣлу прошла. 17 мѣсяцевъ вмѣстѣ были... Прижалъ его руку къ себѣ, да и поползъ дальше..."

Пошли за разное люди. За фронтъ, за Россію, за революцію, за право, пошли просто по смѣшному, какъ одинъ милый юный татарченокъ, что на мой вопросъ — зачѣмъ въ волонтеры пошелъ? — отвѣтилъ ярко и радостно улыбаясь:

„Люди пошла — и я пошла... Моя никто на войну не гонялъ, моя только войну не видалъ. Пошелъ глядать какая война..."

Пошли за разное люди, но больше всего за попранное право, за маленькую окровавленную Бельгію, за Францію, за „войну войнѣ", и за далекую, родную, единую Россію..

Но былъ среди нихъ и третій элементъ голодныхъ, измученныхъ, подчасъ забитыхъ людей, про которыхъ Кирѣевъ съ полупрезрительной жалостью говорилъ: „Ишь ты!.. Решпублика!."

Они пошли, чтобы, съ одной стороны, не умереть съ голоду, оставшись въ штатской жизни и избѣгнуть насмѣшекъ со стороны населенія, съ другой стороны, чтобы обезпечить болѣе или менѣе сносное существованіе семьямъ, получавшимъ наравнѣ съ французами солдатскій паекъ.

Этихъ то людей съ перваго дня войны окрестили унизительно грубоватымъ словомъ „crève-faim" и „bouffeurs de gamelle." Эта кличка осталась, привилась и постепенно какъ-то распространилась на массу волонтаріата. Надо сказать, что большинство французовъ съ большимъ трудомъ понимали, какимъ образомъ люди, не обязанные въ ихъ странѣ служить, по какимъ-то идейнымъ соображеніямъ, пошли записываться въ добровольцы, обрекая себя почти на вѣрную смерть, въ то время, какъ вопросъ обезпеченія себя и семей, страхъ передъ всѣми лишеніями, что несла съ собой война, являлся причиной естественной, но вызывавшей не разъ полу-шутку, полу-упрекъ.

Но не единожды мнѣ приходилось сталкиваться съ столь же презрительнымъ отношеніемъ къ этому роду волонтеровъ со стороны самихъ русскихъ и всякій разъ меня поражало это, я бы сказала, обезцѣненіе въ сущности очень большой жертвы, которую эти абсолютно не идейные люди приносили во имя своихъ, близкихъ. Для того, чтобы обезпечить семью, люди, никогда раньше не задававшіеся вопросомъ о высшихъ идеалахъ, и также, какъ всѣ, хотѣвшіе жить, шли нести кровавую повинность, шли на вѣрную смерть, на раны и на искалѣченіе.

Мнѣ не кажется возможнымъ умалять это движеніе, а тѣмъ болѣе окрещивать его унизительными кличками, но объ этомъ мнѣ хотѣлось упомянуть лишь вскользь.

Такова была въ общихъ чертахъ физіономія волонтерскаго отряда въ августѣ 1914 года.

— —

Съ пѣніемъ Марсельезы, съ бодрыми лицами уѣхали въ концѣ августа 1914 г. 2 экипа русскихъ добровольцевъ въ лагеря обученія. Одинъ, состоявшій исключительно изъ Республиканскаго отряда направился въ Camp de Cercottes, въ 20-ти минутахъ отъ Орлеана; другой, насчитывавшій приблизительно батальонъ — въ Блуа.

Вотъ объ этомъ то послѣднемъ экипѣ, жизнь котораго втеченіе 2-хъ мѣсяцевъ проходила у меня на глазахъ — я и буду говорить въ дальнѣйшемъ.

По пріѣздѣ волонтеры были раздѣлены на двѣ группы: одна, насчитывавшая лучшихъ, годныхъ къ строю солдатъ заняла Саксонскія казармы. Другая, состоявшая изъ самыхъ жалкихъ, хилыхъ и неспособныхъ элементовъ, въ число которыхъ включе-

ны были нѣмцы и австрійскіе поляки была, загнана въ Halles грязный и холодный закутокъ.

Саксонскія казармы, въ которыхъ въ то время стояли еще два французскихъ пѣхотныхъ полка, представляли собой бѣлое зданіе, съ рѣшетчатыми окнами, выходившими на небольшой плацъ, гдѣ солдаты продѣлывали каждое утро военныя упражненія. Въ небольшихъ chambrées темныхъ и грязныхъ помѣщались по 25 человѣкъ, тѣсно положенныхъ въ два ряда, головами къ стѣнѣ. Тонкій слой соломы, служившій постелью, кишѣлъ насѣкомыми, и не смотря на неоднократныя заявленія солдатъ, начальство отказывало въ привозѣ свѣжей. Въ одѣялахъ вначалѣ оказался большой недостатокъ: выдавали одно на 2-хъ и 2 на троихъ; свѣчей не давали совсѣмъ и тяжкую картину представляли собой эти собранные со всѣхъ концовъ міра люди, кто въ полу-штатскомъ, кто въ полу-военномъ, съ котелками на головахъ, на грязной соломѣ, сбитые въ кучу за рѣшетчатыми окнами...

Въ сумеркахъ сентябрьскихъ вечеровъ, казалось, вотъ-вотъ загремятъ гдѣ-нибудь кандалы, и раздастся пьяный крикъ уголовнаго каторжанина. — И не разъ впечатлѣніе это застывало въ душѣ подъ звуки вырывавшейся откуда то, внезапно русской этапной пѣсни...

Моральная обстановка съ первыхъ дней создалась тяжелая. Благодаря плохой раздачѣ и отсутствію организаціи письма вначалѣ доходили очень плохо, и люди, которые ждали вѣстей и посылокъ, какъ свѣтлаго праздника — ходили угрюмые, сѣрые.

Вино и фрукты, приносившіеся солдатамъ изъ города, чаще всего отбирались легіонными начальниками. Кофе въ сальныхъ ведеркахъ, а то и въ гамеляхъ отъ супа, безъ сахару, съ жирными пятнами на поверхности проглатывалось съ отвращеніемъ.

Жизнь въ казармѣ, въ грязи, въ рамѣ рѣшетокъ, въ пьяномъ угарѣ бражничанья и разврата, была очень тяжка. Но не легче дышалось и на занятіяхъ. Волонтеры попали въ руки унтеръ-офицеровъ, состоявшихъ исключительно изъ африканскихъ легіонеровъ, съ темнымъ, часто преступнымъ, прошлымъ. Что же касается офицеровъ, они абсолютно не интересовались жизнью солдатъ. Большинство волонтеровъ не понимало французскаго языка, никогда не держало винтовки въ рукахъ и съ большимъ трудомъ приспосабливалось къ непривычнымъ требованіямъ военной дисциплины. Униженія и брань, которыми встрѣтило ихъ съ первыхъ дней легіонное начальство, измывки и обидныя клички создало сразу атмосферу напряженной вражды.

Происходили недопустимыя и ни въ одномъ французскомъ полку невозможныя вещи. Я приведу нѣсколько примѣровъ, оставшихся у меня въ памяти.

Солдаты выстроены на плацу. Нѣкоторые подходятъ и присоединяются къ товарищамъ нѣсколькими минутами позже. Въ

наказаніе подпрапорщикъ Баррасъ, бельгіецъ, о которомъ я уже упоминала раньше, рѣшаетъ въ полномъ смыслѣ слова ихъ загнать.

„Couchez! Debout! Couchez! Debout!“

То и дѣло раздается въ воздухѣ. Постепенно облетаетъ ряды призывъ: не повиноваться и дѣлать меньше шагъ. Унтеръ-офицеръ безсильно наблюдаетъ происходящее. Тогда Баррасъ, потерявъ всякое терпѣніе, беретъ командованіе, но, ничего не добившись, смѣняетъ тонъ, уговариваетъ, и, наконецъ, подъ враждебно ростущій гулъ голосовъ и брошенную кѣмъ-то угрозу пустить въ него первую пулю по приходѣ на фронтъ прекращаетъ занятія и распускаетъ солдатъ.

Тотъ-же Баррасъ, желая показать свою власть передъ женщинами, запретилъ однажды солдату-бельгійцу разговаривать съ женой, къ которой тотъ подошелъ по окончаніи занятій. На первую попытку возразить что-либо, отвѣтомъ былъ 48-часовой арестъ.

Отношенія ежечасно обострялись. Въ первое время никакихъ жалобъ отъ волонтеровъ не принималось. За нихъ наказывали знаменитымъ „Sac au dos,“ и семичасовыми экзерсисами. Одинъ австрійскій мажоръ, человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ, позволялъ себѣ издѣваться надъ усталыми отъ маршей солдатами, давая по 8 дней „Sac au dos“ тѣмъ, кто приходилъ къ нему просить объ отдыхѣ. На фронтѣ настроеніе круто перемѣнилось; изъ подавленнаго оно сдѣлалось приподнятымъ, боевымъ. Кого поднять на штыки—стало центральнымъ вопросомъ.

Случилось то, чего больше всего боялись, записываясь русскіе волонтеры. Они не попали во французскіе регулярные полки, куда по военнымъ уставамъ ни одинъ иностранецъ не имѣлъ права быть принятымъ, а въ иностранный Легіонъ, съ именемъ котораго связана такая жуткая и темная слава.

Иностранный Легіонъ состоялъ изъ двухъ полковъ подъ командованіемъ старыхъ колоніальныхъ офицеровъ, прошедшихъ школу „Бириби“ и Иностраннаго Легіона въ Африкѣ. Контингентъ публики, записывавшейся въ мирное время въ Легіонъ, чрезвычайно разнообразенъ. Тутъ встрѣчаются люди всѣхъ націй, по преимуществу съ темнымъ прошлымъ — бѣглые матросы, дезертиры, авантюристы всякихъ окрасокъ, нѣмцы — дезертиры довоеннаго періода, выдававшіе себя за эльзасцевъ. Всѣ они шли въ Легіонъ на 5 лѣтъ драться съ непокорными арабскими племенами, покупая этой цѣной, право схоронить свое прошлое и носить другую фамилію.

Легіонеры и въ мирное время пользовались довольно страшной славой, а во время войны, когда страстямъ было гдѣ разнуздаться — они воистину перешли всякую мѣру.

Я вспоминаю и по сейчасъ съ чувствомъ глубокаго ужаса

лицо одного капрала, бельгійца, особенно измывавшагося надъ нашими солдатами. Хозяинъ веселаго заведенія, онъ попался въ какой то темной исторіи, гдѣ кража и убійство шли рука объ руку; отбылъ нѣсколько лѣтъ каторжныхъ работъ и кончилъ военной карьерой въ Африкѣ.

Грубое лицо, съ безсмысленными пивными глазами, онъ былъ извѣстенъ какъ педерастъ и садистъ въ своемъ полку.

Вотъ въ руки этихъ то людей, а среди нихъ и нѣмцевъ, и попали наши добровольцы. Здѣсь стерлись всѣ различія. Интеллигенты и рабочіе, сильные и слабые, отважные и трусливые — они всѣ стали общей жертвой того, что называется Легіономъ.

„Лучше 5 лѣтъ дисциплинарнаго баталіона, чѣмъ 5 мѣсяцевъ Легіона," до сихъ поръ звучитъ во мнѣ фраза одного нѣсколько мѣсяцевъ спустя убитаго товарища.

Но лучше всего характеризуетъ Легіонъ письмо одного волонтера, присланное мнѣ изъ Восточной Арміи съ яркимъ описаніемъ того, что такое былъ Иностранный Легіонъ.

Я привожу его дословно:

„Тяжело въ Легіонѣ... Написать Вамъ, почему тяжело? Трудно. Жизнь каждодневная, вѣдь, не изъ крупныхъ событій создается, а изъ самыхъ мельчайшихъ и незначущихъ самихъ по себѣ мелочей. Въ отдѣльности, въ пересказѣ, всѣ эти мелочи бѣдныя, неважныя, а сцѣпленіе и ежеминутное повтореніе ихъ отравляютъ жизнь, дѣлаютъ ее несносной. Впрочемъ, есть одно крупное обстоятельство, которое я особенно чутко чувствую и отъ котораго сильно страдаю. Это нѣмецкое засиліе. Я всегда отдавалъ справедливость высокимъ качествамъ нѣмцевъ и часто преклонялся передъ ними. Несмотря на это, скажу вамъ по секрету, я въ то же время всегда ихъ терпѣть не могъ. Русскій духъ что-ли во мнѣ ужъ такъ развитъ — не знаю, но нѣмца, страхъ, не люблю и всегда не любилъ. А теперь, и понятно и совсѣмъ нельзя любить его. А тутъ все нѣмцы. И капралъ нѣмецъ, и сержантъ нѣмецъ, и лейтенантъ — нѣмецъ, все нѣмецъ. Даже среди офицеровъ есть. И все, большей частью, подлый нѣмецъ - настоящій. Такъ отъ него за версту „Höchst-Gehorsam" и „Zu Befehl" несетъ. Грубое, подлое животное, одинъ видъ котораго оскорбляетъ. Не думайте, что это лирика. Совсѣмъ нѣтъ. Но вѣдь эти элементы составляли главную суть легіона до войны и здѣсь мы очутились среди нихъ, даже подъ ихъ начальствомъ. Я еще понимаю и могу допустить нѣмца-добровольца, на время войны, какъ это ни странно. Во всякомъ случаѣ я не имѣю права заподозрить искренность такого добровольца a priori. Между тѣмъ я не могу допустить, не могу понять тѣхъ, которые здѣсь, но поступили въ ле-

гіонъ до войны, задолго до меня. Для меня, какъ ни верти, имъ здѣсь не мѣсто и искренности ихъ, какъ бы настояща она не была, я вѣрить не могу. Я нащупывалъ почву, зондировалъ ихъ — и поводы ихъ присутствія мало почтенные. Да и вообще просто оскорбительно, мучительно больно намъ, настоящимъ добровольцамъ, безъ всякихъ заднихъ побужденій, русскимъ къ тому же, быть среди нѣмцевъ и даже подъ ихъ началомъ. И вотъ когда такой типъ къ тебѣ обращается и съ своей обычной, по нѣмецки грубой военной замашкой, что-нибудь скажетъ или прикажетъ, въ груди что-то вспыхнетъ, заклокочетъ и... что всего хуже, молчишь, злишься и опять молчишь! Потому что здѣсь легіонъ, потому что здѣсь не шутятъ, потому что я ужъ отупѣлъ и измельчалъ, потому что... Да развѣ разскажешь всѣ „почему"... Да, чего-чего, а этихъ оскорбленій и нравственныхъ пытокъ я не забуду, если жить останусь и на эту тему кой-чего разскажу послѣ войны. Теперь не время, дѣло важнѣе и нужно терпѣть молча. Впрочемъ, если придется Вамъ еще говорить съ Его Сіятельствомъ, генераломъ графомъ Игнатьевымъ, разскажите ему это. Пусть и его оффиціальная душа порадуется, какъ хорошо уважили легальныхъ и нелегальныхъ „sujets" Его Величества, Императора Всея Россіи. Курьезнѣй всего то, что какъ-то, недѣли двѣ назадъ намъ прочитали на рапортѣ буквально слѣдующее: „Aucune demande d'emploi d'interprète ou autre n'est plus permise. On demandera des interprètes quand il y aura nécessité. Toutefois les ressortissants des nations alliés ont droit de faire des demandes de changement du corps, pour passer dans des régiments réguliers."

Конечно, я передаю своими словами, но за точность смысла ручаюсь. И, что же, пошелъ одинъ русскій спрашивать, кому и какъ писать бумагу для этого (форменной, кромѣ бюро, здѣсь не достанешь). Ему говорятъ: придите завтра, мы Вамъ сами напишемъ. Ладно. Но послѣ завтра онъ опять идетъ, и ему говорятъ: Вамъ нечего писать, Вы плохо поняли, говорилось не о Васъ, не объ „alliés," а о французахъ. Каково? Значитъ, молъ, сиди и не рыпайся: все равно ничего не выйдетъ, не дадутъ ходу. А будешь брыкаться, найдутъ способъ задушить, черти! Я-то самъ не боюсь ихъ и, если бы раньше прибытія сюда не подалъ о переводѣ къ сербамъ (все жду отвѣта), не писалъ бы, ну и остальнымъ не совѣтую. Прошу ихъ терпѣть, потому боюсь, будутъ душить ихъ, найдутъ способъ. Ну вотъ Вамъ и Легіонъ. Понятно стало, хоть немножко?

А все-таки жизнь всего сильнѣе и надо всѣмъ верхъ возьметъ.

. Нъ

Факты, одинъ ужаснѣе другого, происходили на фронтѣ.

„Однажды,—разсказывалъ мнѣ волонтеръ Руцманъ,—намъ дѣлали прививки. Я заболѣлъ и на носилкахъ былъ отнесенъ въ Château Blanc Sablon. Меня положили въ погребъ на тюфякъ, что пѣшкомъ пошелъ подо мной — вшей полный. Когда товарищи пришли, такъ крысы гуляли по мнѣ. 24 часа пролежалъ я безъ памяти и только, когда, узнавъ объ этомъ, Шапиро поднялъ шумъ, докторъ вызвалъ меня и отправилъ въ деревню."

Случаи незаконнаго избіенія солдатъ все учащались. Бывало, что люди удирали съ постовъ и уходили въ другія линіи.

Но мѣра стала переполняться. Начальство поняло, что всѣ границы перейдены,—и, напримѣръ, избившій волонтера Цукера капралъ М. былъ разжалованъ и сосланъ въ Марокко.

Надо сказать, что частичная вина во всемъ происходившемъ ложится и на самихъ волонтеровъ. По приходѣ въ Блуа, какъ я уже говорила, они были раздѣлены на двѣ категоріи, изъ которыхъ одна, отдѣленная въ Halles, была по преимуществу реформирована еще до ухода на фронтъ. Лѣнь, пьянство, кражи, развратъ, очень не частые, но бывавшіе факты дезертирства—все это вооружало французовъ, смѣшивавшихъ всѣхъ волонтеровъ въ своей оцѣнкѣ воедино. Безконечные раздоры происходили на почвѣ столкновеній русскихъ съ австрійскими поляками, турецкими евреями и румынами. Эти послѣдніе завели довольно нечистоплотную торговлю, набирали бѣлье изъ краденыхъ у солдатъ пакетовъ и продавали за бѣшеныя деньги. Фунтъ шоколада шелъ по 8 фр., четверть хлѣба по 2 фр., стаканъ чаю по 50 сант., пакетъ табаку по 25 су.

Воровство стало явленіемъ повседневнымъ — вещи исчезали изъ солдатскихъ мюзетокъ, кармановъ, съ самаго человѣка, когда онъ спалъ.

Но все это, повторяю относится къ тѣмъ, кого сами французы отдѣлили, какъ завѣдомо низшій элементъ и кто въ громадномъ большинствѣ случаевъ не пошелъ на фронтъ.

Начальство стало постепенно отдавать себѣ отчетъ въ происходившемъ и вскорѣ капитанъ 4-ой кампаніи Вервиль опросилъ всѣхъ волонтеровъ, составилъ докладную записку на основаніи собранныхъ жалобъ и издалъ приказъ, категорически воспрещавшій какія либо инсинуированія по поводу „[illegible]".

Надо замѣтить, что положеніе добровольцевъ, особенно евреевъ, въ другихъ союзныхъ арміяхъ, было морально не лучше чѣмъ во Франціи. Въ смыслѣ ѣды и обмундировки, англичане и американцы обставили ихъ, быть-можетъ, нѣсколько лучше, но душевно они натерпѣлись большого горя. Я привожу въ концѣ книги разсказъ одного волонтера, служившаго въ англійскомъ еврейскомъ Легіонѣ — какъ яркую страницу изъ исторіи еврейскаго народа.

Также, какъ и во Франціи, ихъ обвиняли въ томъ, что они

пошли на войну ѣсть англійскій хлѣбъ, несмотря на то, что среди ангажировавшихся были съ одной стороны люди очень состоятельные, а съ другой, студенты, записавшіеся исключительно по идейнымъ соображеніямъ.

„Палестина!... это былъ нашъ идеалъ, и за него мы пошли биться.“

Такова была моральная обстановка, въ которую попали на Западѣ русскіе волонтеры, записавшіеся въ союзныя войска.

Ощущеніе какой то глубокой, совершенной по отношенію къ нимъ несправедливости усилилось еще и благодаря тому, что въ это время произошла страшная битва при Каранси, въ которой погибло столько добровольцевъ.

Когда стало извѣстнымъ, что готовится атака, 4 батальона русско польскихъ волонтеровъ вызвались итти. 80 процентовъ наличнаго состава атакующихъ было перебито и выбыто изъ строя: среди нихъ громадный процентъ палъ на русскихъ и поляковъ. Я привожу цѣликомъ письмо одного солдата написанное 15 мая 1915 г., т. е. немедленно вслѣдъ за атакой.

Оно не нуждается въ комментаріяхъ.

Письмо съ фронта.

15-20 мая 1915 года

Вчера получилъ твое письмо и открытку, но не былъ въ состояніи даже ихъ прочесть, — проспалъ всю ночь, какъ убитый. Сегодня утромъ, проснувшись — кровавый кошмаръ прошелъ — опомнился; думаю обо всемъ пережитомъ за послѣдніе 5 дней; душа начинаетъ успокаиваться; прочелъ твои письма.

Уже за нѣсколько дней раньше мы знали, что наши 4 батальона волонтеровъ первыми выступаютъ въ бой. Въ послѣдній день мы были готовы.

Въ субботу вечеромъ мы ушли занимать позицію въ первую линію.

Въ 7 часовъ утра, въ воскресенье, 9 го мая, наша артиллерія заговорила, нѣсколько сотъ пушекъ били отъ 3 часовъ до 10, и вдругъ замолкли. Наши 4 батальона выскочили изъ траншей и помчались къ нѣмецкимъ траншеямъ. Ихъ пулеметы и артиллерія осыпали насъ огнемъ, но въ 10 минутъ мы уже были въ ихъ траншеяхъ. Тутъ я видѣлъ сотни блѣдныхъ людей, бросившихъ ружья на землю. Они кричали: „Camarade, camarade, не убей насъ.“ Мы перескакивали черезъ ихъ траншею и мчались дальше, къ слѣдующей. На насъ все сыпался огонь. Мы достигли второй и не остановясь, бросились къ третьей, такъ какъ у нихъ было три линіи траншей. Но изъ третьей они уже не стрѣляли, а сотнями выскочили и бросились удирать. Мы гнались и осыпали ихъ градомъ. Видѣлъ я, какъ они падали —

поле было усѣяно трупами, я какъ-то два раза упалъ, зацѣпившись за трупы, но каждый разъ поднимался и бѣжалъ дальше. Наскочилъ на одного офицера, лейтенанта, ранenаго, который держалъ въ рукѣ револьверъ и продолжалъ стрѣлять въ насъ. Я только успѣлъ ударить его ружьемъ по головѣ, вырвалъ у него револьверъ и самъ упалъ безъ чувствъ, — больше не было силъ бѣжать. Такъ я лежалъ пару минутъ. Одинъ товарищъ хотѣлъ перевернуть меня, посмотрѣть, живъ ли я. Открывъ глаза, я увидѣлъ впереди меня, какъ наши продолжаютъ сражаться уже около одного большого городка, гдѣ нѣмцы были укрѣплены. Я первый разъ оглянулся назадъ, опомнившись, и бросился къ городку. Черезъ часъ была нами взята половина этого городка, нѣсколько пушекъ, болѣе тысячи плѣнныхъ: они выскакивали изъ окоповъ, изъ погребовъ и отдали намъ въ руки этотъ городокъ (Carency). А направо наши сражались и уже былъ взятъ второй городокъ (Neuville). На помощь намъ пришли зуавы и тирайеры. Все это продолжалось полтора часа, мы прошли 5 километровъ въ глубину и 7 въ ширину.

Наши рвались дальше, но не было возможности, такъ какъ наши сосѣди по правой и лѣвой сторонѣ продвинулись на 2 километра, и мы очутились въ огнѣ съ трехъ сторонъ. Офицеры наши почти всѣ пали; полная анархія.

Мы начали укрѣплиться и ждать нѣмецкой контръ-атаки. Всѣ принялись за работу, копаютъ ямы, гдѣ бы можно было укрыться отъ снарядовъ. Наступаетъ ночь. У кого нѣтъ картушекъ, снимаетъ съ мертвыхъ или раненыхъ.

Въ 8 час. вечера нѣмцы намъ устраиваютъ концертъ — шрапнели, обюсы сыпятся какъ дождь на насъ, но изъ нашихъ никто не трогается съ мѣста. Это продолжалось 2 часа до 10-ти. Пушки замолчали, а ихъ пѣхота двинулась на насъ густыми толпами, но мы открыли такой огонь, что они бросились обратно и оставили сотни убитыхъ и раненыхъ. Всю ночь мы продолжали стрѣлять, — ружья наши были красныя. Къ утру они опять атаковали насъ, но каждый разъ были отбиты.

Такъ минулось 9, 10, 11 и 12 числа. Я кушалъ траву, думалъ, что умру отъ жажды, но 12 ночью насъ замѣнили другія войска и насъ убрали съ поля битвы.

А когда вернулся обратно, то видѣлъ сотни мертвыхъ нѣмцевъ, но и не мало нашихъ тоже, — насъ осталась половина, но 80 проц. — это раненые.

Теперь мы находимся въ 15 килом. отъ поля битвы. Вчера увидѣлъ газету отъ 14-го и тамъ имѣется о нашемъ боѣ, и сказано, что за 7 мѣсяцевъ битвы, ни нѣмецкая армія, ни французская не показали такой жестъ, сражаться какъ наши 4 батальона, но не говорятъ, что это мы — добровольцы. Сегодня былъ генералъ и поздравилъ насъ отъ имени Жоффра и военнаго министра...

Въ другой разъ напишу о болѣе глубокихъ переживаніяхъ. На четвертый день, когда вернулся, встрѣтился съ С., думалъ, что онъ убитъ, то же самое онъ думалъ обо мнѣ. Мы теперь вмѣстѣ и дѣлимся всѣмъ пережитымъ.

Для тѣхъ, кто близко стоялъ къ добровольческому движенію, вскорѣ стало совершенно ясно, что на французскомъ фронтѣ дѣло такъ просто не обойдется, что катастрофа неминуема и что послѣдствія ея могутъ быть очень серьезны.

Письма съ фронта становились все болѣе тяжкими. Тревога росла. Жутко прозвучалъ выстрѣлъ одного товарища, который приставилъ дуло ружья къ виску, ногой спустилъ курокъ и покончилъ съ собой.

Гроза была въ воздухѣ. Громъ долженъ былъ грянуть и грянулъ.

Первымъ жуткимъ эхомъ донеслась вѣсть о возвратѣ съ фронта 40 участниковъ Республиканскаго отряда. Мнѣ часто и много приходилось разспрашивать волонтеровъ о причинахъ возникновенія этой такъ-называемой „Орлеанской исторіи," и никогда добиться яснаго и прямого отвѣта мнѣ не удалось. Фактъ тотъ, что однажды безъ всякихъ къ тому видимыхъ причинъ, и безъ объясненій 40 человѣкъ республиканцевъ были сняты съ мѣстъ и подъ конвоемъ отправлены въ Орлеанъ, откуда ихъ должны были уже сослать въ Морокко. Трудно выяснить, какіе мотивы руководили французскимъ начальствомъ въ этомъ совершенно беззаконномъ поведеніи по отношенію къ волонтерамъ, которые всѣ, какъ оказалось по установленнымъ свѣдѣніямъ были прекрасными, храбрыми солдатами, къ которымъ съ точки зрѣнія военной дисциплины нельзя было абсолютно ни въ чемъ придраться. Наиболѣе правдоподобнымъ является слѣдующее объясненіе. Нароставшая усталость отъ всѣхъ пережитыхъ моральныхъ униженій въ Легіонѣ не могла ускользнуть отъ французскаго начальства, которое, боясь вспышки военнаго бунта и заразнаго вліянія на окружающихъ солдатъ, рѣшило изолировать всѣ организованные элементы, удаливъ ихъ безъ всякихъ къ тому основаній въ Африку.

Но тревожный сигналъ былъ данъ; русскія власти, изъ которыхъ больше всего было сдѣлано капитаномъ Мусинымъ-Пушкинымъ, французская печать и кое-какіе видные общественные дѣятели заставили произвести анкету, выяснить обстоятельства и причины всего случившагося и дѣло удалось пріостановить. Люди были спасены и возвращены на фронтъ, но уже во французскіе полки, а не въ Легіонъ. Моральное угнетеніе добровольцевъ подъ вліяніемъ всей этой исторіи еще больше возросло, но слухъ

объ ужасахъ Легіона достигъ до Франціи, до людей власть имущихъ и сталъ хоть и робко, но проникать во французскую печать.

Тревога была въ воздухѣ. Она какъ-то стихла, притаилась въ душѣ солдатъ, замерла въ письмахъ, какъ затихаетъ воздухъ передъ раскатомъ грозового грома.

И громъ грянулъ...

Броженіе росло. Недовольство увеличивалось. Ненависть къ легіонерамъ, африканскимъ капраламъ и сержантамъ принимала все болѣе и болѣе рѣзкія формы. Люди истомились до нельзя, и разговоры о смѣнѣ Легіона на русскіе или французскіе полки стали центральной темой, покрывшей все остальное.

10-го іюня Легіонъ перешелъ на свои старыя позиціи въ Шампань и здѣсь разыгрался такъ называемый - первый бунтъ, закончившійся ссылкой на каторгу 11 человѣкъ. Это дѣло относится къ періоду отъ 2—24-го іюня 1915 г.

Легіонъ пришелъ на отдыхъ въ деревню Oeilly, и здѣсь впервые группа волонтеровъ стала серьезно обсуждать вопросъ о томъ, что дѣлать и какъ положить конецъ создавшемуся чрезвычайно тяжелому положенію. Въ результатѣ рѣшено было требовать вызова представителей русскихъ властей, а въ случаѣ отказа не итти въ траншеи.

Мгновенно вѣсть эта облетѣла остальныя части и русскіе другихъ секцій обѣщали свое содѣйствіе.

Слухъ обо всемъ происходящемъ донесся до начальства и черезъ нѣсколько часовъ волонтерамъ собраннымъ въ сарай поставлено было ультимативное требованіе итти немедленно въ траншеи. Согласные должны были отправиться сейчасъ же отказавшіеся оставаться на мѣстѣ. Среди ушедшихъ былъ волонтеръ Федоровъ, эмигрантъ, чрезвычайно честный и хорошій товарищъ. Онъ вскорѣ вернулся съ цѣлью убѣдить непокорныхъ итти въ траншеи и попытаться оказать давленіе на командующаго офицера.

Разговоръ былъ длинный, офицеръ расплакался, говорилъ, что любитъ солдатъ, солдаты плакали Но вызвать полковника Ознобишина безъ своего капитана онъ не рѣшился и путнаго ничего изъ этого разговора не вышло. Въ штабъ было дано знать, что 1-ая секція итти въ траншеи отказывается.

Солдаты объ этомъ ничего не знали. Переговоры и дискуссіи продолжались еще довольно долго. Но вскорѣ пришло извѣстіе, что русскіе другихъ секцій сдались, и въ результатѣ—рѣшено было... итти въ траншеи.

Приготовили саки... разошлись ѣсть супъ.. Въ 5 часовъ сборъ. Бунтовщиковъ вывели послѣдними и присоединили къ уже выстроившейся ротѣ. Между сборомъ и супомъ пріѣхалъ капитанъ изъ Генеральнаго Штаба, говорилъ съ офицеромъ и съ однимъ изъ волонтеровъ. Прежде чѣмъ итти къ капитану,

поручикъ съ злорадствомъ сказалъ: „Раньше я плакалъ, а вы смѣялись, теперь наши роли помѣнялись!“

Вечеромъ пошли въ траншеи; пробыли въ нихъ три дня и 16-го іюня спустились на отдыхъ и тамъ поодиночкѣ всѣ были вызваны къ капитану, который подробно разспрашивалъ о причинахъ, вызвавшихъ бунтъ.

Солдаты заявили, что въ Легіонѣ оставаться больше не было силъ, и просили въ одинъ голосъ о переводѣ ихъ въ ряды регулярной французской арміи, или объ отправкѣ въ Россію.

17-ое іюня было днемъ отдыха. Дѣло происходило въ селѣ Oeilly на рѣкѣ Aisne, въ 6 верстахъ далѣе Краонна.

Солдаты тихо разговаривали, когда неожиданно пронесся приказъ о сборѣ. Въ полномъ молчаніи, оцѣпленные карауломъ въ сопровожденіи жандармовъ — „бунтовщики“ были отведены въ малое зданіе, — какъ оказалось, зданіе суда. Волонтеры не знали, куда ихъ ведутъ — не допуская мысли что ихъ могли предать военному суду.

Обстановка суда была неслыханная. Защитникъ, котораго добровольцы въ глаза не видали, знакомился съ дѣломъ на засѣданіи. Судъ состоялъ изъ подполковника и двухъ офицеровъ.

Прокуроромъ былъ лейтенантъ.

Начался допросъ. Солдаты держались очень хорошо; всѣ въ одинъ голосъ подтвердили ужасныя моральныя условія жизни въ Легіонѣ. Волонтеръ Глувнякъ приводитъ цѣлый рядъ случаевъ избіенія, изъ которыхъ избіеніе Якубовича привело къ тому, что капралъ-легіонеръ, въ этомъ повинный, потерялъ нашивки.

Глувнякъ говорилъ въ такой рѣзкой формѣ, что Фалькъ, служившій ему переводчикомъ, не могъ отъ волненія передать все то что тотъ говорилъ. Многое было измѣнено, многое пропущено. Но основное положеніе, заключавшееся въ томъ, что ни одинъ волонтеръ не отказывался сражаться, а только требовалъ перевода изъ Легіона, было ясно и точно формулировано.

Единственное, на чемъ основывался прокуроръ, была бумага отъ коменданта, подтверждавшая хорошее отношеніе и человѣческое, якобы, обращеніе съ легіонерами и объяснявшая бунтъ усталостью и трудностью пути. Засѣданіе продолжалось нѣсколько часовъ, но выяснить причинъ преданія суду не удалось. Это произвело впечатлѣніе. Полковнику, видимо, не хотѣлось всѣхъ наказать. Тогда стали искать зачинщиковъ, допрашивать свидѣтелей, но и это не дало никакихъ результатовъ. Прокуроръ потребовалъ минимума наказанія, то-есть 5 лѣтъ каторжныхъ работъ.

Рѣчь защитника сводилась къ одному: „они согрѣшили — ихъ надо пожалѣть, уменьшивъ кару.“

Отвѣтомъ было краткое: „Impossible!“

Судъ удалился, и черезъ 5 минутъ былъ прочитанъ приговоръ, осуждавшій всѣхъ на 5 лѣтъ каторжныхъ работъ.

Все это „дѣло" для самого начальства было до такой степени явно беззаконнымъ, что по прочтеніи приговора, прокуроръ созвалъ осужденныхъ и объявилъ имъ, что все это для формы и, что въ случаѣ хорошаго поведенія, наказаніе будетъ съ нихъ снято. Тотъ же прокуроръ, какъ оказалось впослѣдствіи, просилъ о suspension de peine. Ему было отказано генераломъ, который нашелъ, что данное наказаніе было слишкомъ мало.

Вечеромъ, съ сумерками, выступили въ походъ. На 3-ей остановкѣ осужденныхъ окружили жандармы, вывели изъ рядовъ и заперли въ сарай. На утро передъ собраннымъ въ строй батальономъ провели, одѣли цѣпи на руки и 18-го іюня 1915 г. отправили въ Африку.

Каторга. Кошмарная, звѣриная жизнь. Безъ выхода, безъ конца...

Забытые и безпомощные волонтеры стали писать, подавать прошенія. Писали отдѣльно и коллективно, писали атташэ и консуламъ, генераламъ и депутатамъ. Писали по-еврейски, по-эстонски и по-русски. Писали черезъ тюремное начальство, черезъ арестантовъ, оффиціально и неоффиціально. Отвѣта ни на что не получилось, несмотря на то, что алжирскій консулъ оповѣстилъ ихъ о пересылкѣ писемъ въ Парижъ. Это былъ единственный представитель русскихъ властей, который какъ то откликнулся и что-то сдѣлалъ.

Послѣ Маскары осужденные были отправлены въ Perigeaux и оттуда 30-го ноября 1915 г. въ Бель Аббесъ. Тамъ они пробыли до 4-го января 1916-го г., а затѣмъ черезъ Бизертъ неожиданно помилованные, отосланы на восточный фронтъ.

Въ то время, какъ разыгрывалась эта первая драма въ маленькомъ городѣ Courlandon произошла другая исторія, раной красной, раной раскрытой зіяющая.

9 человѣкъ русскихъ добровольцевъ были разстрѣляны черными войсками и среди всѣхъ неисчислимыхъ жизней смертью унесенныхъ эти девять сжимаютъ душу, томятъ и мучаютъ, какъ незаживающая рана.

Кровавымъ холмомъ подымаются ихъ могилы.

И хочется передать правдиво и просто все, что случилось. Я привожу цѣликомъ, не измѣнивши въ немъ ни единаго слова разсказъ Кирѣева, одного изъ зачинщиковъ, осужденнаго потомъ на каторгу и нѣсколько документовъ, относящихся къ этому дѣлу и приложенныхъ въ концѣ книги.

РАЗСКАЗЪ КИРѢЕВА.

„Это все было 20-го іюня 1915 г. въ 15-ти километрахъ отъ фронта. Смѣнили позиціи и пришли въ деревню. Утромъ является къ намъ командиръ взвода и выдаетъ за храбрость всей секціи 20 франковъ на вино. Послали мы, значитъ, Кононова и Каска. Ждемъ — нѣтъ ихъ да нѣтъ. Тогда мы съ Эльфандомъ пошли ихъ искать. Вдругъ навстрѣчу намъ разжалованный тогда за мордобитіе сержантъ 3-ей роты Баррасъ. Хочетъ посадить.

Я объясняю, что мы, дескать, по порученію поручика — а тутъ выскакиваютъ Кононовъ и Каскъ, раньше нашего задержанные. Ихъ опять запихнули въ кутузку, а насъ съ Эльфандомъ загнали во дворъ и вызвали секцію на усмиреніе, написавъ бумагу, что, дескать, происходитъ бунтъ.

Въ вызванной секціи оказались товарищи волонтеры: Адамчевскій и Колодинъ. Они, какъ узнали въ чемъ дѣло, побросали оружіе, перелѣзли къ намъ и говорятъ: „остаемся!" Командиръ батальона пришелъ, не разобралъ въ чемъ дѣло и велѣлъ связать.

Я долго не давался, но противъ силы не пойдешь.

Въ то время приходитъ поручикъ 3-ей роты, лейтенантъ Сандрэ и вмѣстѣ съ Баррасомъ давай насъ связанныхъ ногами бить. Я говорю: „не убьешь!"

Тогда намъ завязали рты, что бы не кричали, а мнѣ пихали палку въ ротъ. Ротъ завязанъ... Кровь идетъ... Жалко смотрѣть. Фельдшеръ, русскій, хотѣлъ перевязать, такъ куда! Сандрэ ему и говоритъ: „Если вмѣшиваться будете, я и васъ свяжу."

То было въ 12 часовъ дня, а лежали мы связанные до 6-ти часовъ вечера, покуда не пришелъ капитанъ Жаксонъ и не велѣлъ поручику Марокиньи насъ развязать въ присутствіи Сандра. А тотъ далъ приказъ: „Охраняйте этихъ людей. Завтра они будутъ разстрѣляны "

Жаксонъ спрашиваетъ: „Кто ихъ избилъ?"

Сандрэ отвѣчаетъ: „Сами побились."

„Какъ-же, говоритъ, когда они были, вѣдь, связаны?"

Спрашиваетъ меня я отвѣчаю: „Баррасъ и Сандрэ."

Подтвердили то бабы и учительница, что въ школѣ при всемъ томъ были.

Капитанъ далъ намъ капрала Ковалькова въ охрану и про-

сидѣли мы до 6-ти утра. А тутъ приказъ въ походъ итти, саки брать.

Мы отказываться: „Не можемъ," говоримъ — „мы не солдаты лежіона. Не пойдемъ!"

Жаксонъ три раза приходилъ, уговаривалъ. Кононова, Каска и меня предупреждалъ — дескать, въ грязное дѣло вы попадаете. Саки забрали. Насъ позади всего батальона ведутъ. Приходимъ въ деревню, а тамъ Эльфандъ и Шапиро подъ арестомъ сидятъ.

На другой день приходитъ поручикъ Марокинъи. Кононовъ ему своихъ денегъ 20 франковъ, что на вино тогда далъ, отдаетъ. „Не хотимъ," говоритъ, „вашихъ денегъ."

Такъ просидѣли три дня.

Назначаютъ походъ. Находились мы въ 15-ти километрахъ отъ линій. Опять мы свое: отказываемся итти съ Легіономъ. Пошлите въ какой хотите французскій полкъ — всюду пойдемъ. Шапиро и Эльфандъ, значитъ, тоже за насъ — отказались итти.

Приходитъ командиръ батальона, велитъ жандарму и на насъ саки надѣть. Мы скидаваемъ. Съ Легіономъ не пойдемъ. Командиръ батальона снова пришелъ — говоритъ: Баррасъ разжалованъ. Опять велитъ одѣваться, итти въ окопы.

Мы требоваемъ ,что бы докторъ пришелъ, сказалъ можемъ ли мы избитыми итти. Командиръ ушелъ. Приходитъ опять полковникъ жандармскій съ жандармами.

„Сейчасъ всѣхъ разстрѣляю, если въ окопы не пойдете."

И снова мы отказались.

Черезъ нѣсколько минутъ смотримъ приводятъ Дикмана изъ 1-ой роты, потомъ Петрова и Николаева. Допросили и пригнали къ намъ. Потомъ еще партію изъ 3-ей роты: Портнера, Аркуса, Левинсона Забрано, Лившица, Іоффе и 7 человѣкъ армянъ.

Скомандовали трогаться. Въ караулѣ съ жандармами въ другую деревню пошли, гдѣ 43 пѣхотный полкъ стоялъ. Тамъ командиръ батальона повстрѣчалъ очень хорошо. Безъ стражи спать положилъ, а на утро въ 12 часовъ взводъ пришелъ и повели насъ ровно скотъ въ судъ.

Судьи всѣ какъ есть лежіонеры, кромѣ прокурора и защитника, которые офицерами французскими были. Судей было 3 adjudant, commandant и sous-lieutenant.

Съ первыхъ словъ стали требовать мы французскихъ судей. Отказали. Защитникъ просилъ, чтобы дали подсудимымъ защитное слово сказать. Никакого вниманія на его заявленіе обращено не было.

Я на предсѣдателя только смотрю и говорю: „Во французской арміи солдатъ бьютъ?"

„Нѣтъ."

„А почему жъ насъ били?"

Ничего не отвѣтилъ.

4 часа судили. Темно уже было, какъ свели насъ въ деревню, въ погребъ. А на утро согнали всѣхъ вмѣстѣ на чтеніе приказа, когда срокъ нашъ въ 24 часа на кассацію истекъ...

Какъ прочли которыхъ къ разстрѣлу, которыхъ къ каторгѣ обвинили, такъ и разъединили. Насъ въ погребъ согнали, а смертниковъ увели и больше мы ихъ не видали — черезъ часъ надо быть разстрѣляли ихъ чернокожіе...

Цѣлую ночь просидѣли мы въ погребѣ. Потомъ сковали насъ по двое жандармы и угнали дальше на станцію Fimes.

Оттуда и письма вамъ удалось написать, потому солдатъ хорошій попался. А изъ Fimes черезъ Noisi le Sec, Орлеанъ, Clermont-Ferrand, Марсель въ Африку, въ Baugy. Усы обрили по каторжному, всѣхъ сравняли. Ну и каторга началась. Какъ пришли, мы, капитану обо всемъ разсказали, просили вернуться на фронтъ. Капитанъ отвѣтилъ, что черезъ три мѣсяца право намъ будетъ прошеніе подать, а тѣмъ временемъ дороги строить угнали. Начальство дали французовъ: кормили и обращались очень плохо — только одна лишь разница, что французовъ били, руки и ноги сковывали, а насъ не трогали. Только, что называется, голодомъ брали. Въ 11 час. утра полъ гамели легюма или рисъ и макароны. А ввечоръ полъ гамели супу — водичка одна, а въ ней мяса, примѣрно, какъ съ кусочекъ сахару будетъ. Плата 25 сант. въ день.

4 мѣсяца каторги отбыли и только въ самомъ концѣ получили приказъ въ зуавы перейти. Ну и угнали въ Constantine. Тамъ вздохнули немножко. Начальство попалось хорошее. Прошеніе подать позволили. На людей похожими стали.

Ну а тамъ и помилованіе пришло. Только тѣхъ, что разстрѣляны не воротишь... Горюемъ о нихъ... Смертью пострадали, чтобы для насъ лучше было."

Насъ было нѣсколько человѣкъ въ Парижѣ, къ которымъ немедленно донеслась вѣсть обо всемъ происходившемъ на фронтѣ. Письмо Кирѣева о звѣрскомъ избіеніи и преданіи волонтеровъ суду пришло 20-го іюня.

Я помню ощущеніе безсильнаго, холоднаго ужаса при мысли о томъ, что, можетъ быть, поздно, что, можетъ быть, крикъ ихъ донесся, когда все уже было кончено.

Благодаря цѣлому ряду рекомендательныхъ писемъ отъ Рубановича, Hervé, Guernut мнѣ удалось имѣть свиданіе съ тогдашнимъ министромъ Traveaux Publics — Sembat.

Sembat принялъ меня стоя, съ видомъ озабоченнаго человѣка, поглощеннаго своими дѣлами и мыслями. По мѣрѣ того, какъ разворачивался разсказъ, какъ было прочтено вопіющее

письмо Кирѣева, мнѣ стало ясно, что впечатлѣніе большое, что человѣкъ отозвался весь до конца. Онъ обѣщалъ мнѣ доложить въ тотъ же день въ Совѣтѣ министровъ все случившееся и по возможности довести дѣло до свѣдѣнія Президента Республики.

Вечеромъ того же дня я принесла ему весь матерьялъ, который было возможно достать о положеніи русскихъ волонтеровъ на фронтѣ для передачи его въ министерство.

Sembat встрѣтилъ меня съ бодрящей, хорошей улыбкой.

Письмо Кирѣева, переведенное на французскій языкъ и переписанное на машинкѣ, было роздано всѣмъ министрамъ. Впечатлѣніе было огромное „Même Ribot en a été ému"... сказалъ Sembat. Въ то же время Пуанкарэ сегодня же послалъ 2-хъ офицеровъ на фронтъ для произведенія анкеты съ полномочіями пріостановить дѣло по выясненіи его.

„Приходите завтра, я буду имѣть отвѣтъ."

Я ушла успокоенная и тревожная...

А на утро...

Такъ и останется въ моей душѣ этотъ огромный кабинетъ, и его лицо, и съ такимъ трудомъ сказавшіяся, въ сердце камнемъ упавшія слова:

„Trop tard... Ils sont arrivés 24 heures trop tard."

„Trop tard..."

Наши погибли. Погибли за Францію, за Россію, за право, за непопраніе человѣческой души, за то, чтобы другимъ остальнымъ было лучше.

Погибли со свѣтлымъ крикомъ: „Да здравствуетъ Франція" подъ выстрѣлами чернокожихъ солдатъ.*)

Смерть ихъ дала зерно. Черезъ три или четыре недѣли послѣ пріѣзда на фронтъ полковника Ознобишина русскіе волонтеры были раскассированы по французскимъ полкамъ и надо сказать, что за всю мою 4-лѣтнюю работу съ солдатами, которыхъ мнѣ приходилось встрѣчать иногда по 15, 20 человѣкъ въ день и разспрашивать объ условіяхъ жизни во французскихъ полкахъ, ни одной жалобы ни отъ одного солдата я никогда не слыхала.

Они вошли, какъ свои во французскую семью. Съ нею жили, съ нею умирали.

Смерть дала зерно...

*) Къ чести французовъ надо сказать, что они отказались стрѣлять.

А затѣмъ пришелъ 17-ый годъ.

Отзвуки русской революціи докатились до фронта и безконечно по разному отозвались на душахъ русскихъ волонтеровъ. Заснувшая, у многихъ годами спавшая любовь къ Россіи, тоска по родной землѣ, проснулась, заворошила и душу и мысль.

Вопросъ объ отъѣздѣ въ Россію властно сталъ на очередь. Письма, приходившія отъ солдатъ неувѣренно и робко спрашивали, просили.

Необходимо создать организацію, которая взяла бы на себя инниціативу по переводу русскихъ волонтеровъ изъ французскихъ полковъ на русскій фронтъ, сдѣлалась вопросомъ дня и вскорѣ группа лицъ, изъ которыхъ многіе втеченіе всей войны стояли близко къ добровольческому отряду образовала комитетъ „Революціонной обороны“ по отправкѣ въ Россію эмигрантовъ, стоявшихъ на платформѣ обороны страны и поддержки Временнаго Правительства.

Нѣсколько человѣкъ волонтеровъ, находившихся тогда въ Парижѣ, составили декларацію и воззваніе, разосланное „Обороной“ всѣмъ добровольцамъ на фронтъ.

Въ отвѣтъ посыпались письма съ просьбами, запросами и вопросами. Проснулась тоска долго спавшая, тоска по Россіи, по семьѣ, по чему-то своему и родному, чего не было и не могло быть во Франціи.

„Россія... Въ Россію“...

„Отца больного увижу... своихъ найду... Родинѣ послужу... Наконецъ бороться подъ роднымъ знаменемъ буду“...

„Нашъ долгъ немедленно ѣхать въ Россію, вступить въ ряды русской арміи, поддерживать декларацію Временнаго Правительства. Намъ дороги для интересовъ русскаго народа каждый часъ, каждая минута, а хочется вѣрить, что „Оборона“ сдѣлаетъ все, чтобы волонтеры, стоящіе на ея точкѣ зрѣнія, могли немедленно уѣхать въ Россію.

Все это звенѣло такъ одинаково и такъ по разному въ сотняхъ писемъ, что приносила ежедневно и нескончаемо почта.

И все это переплеталось съ робкой боязнью: — Что будетъ? — И трогательно звучали наивные вопросы — „А не засчитается ли мнѣ, что я дезертиръ?“ — „А смогу ли я въ Россіи носить свою настоящую фамилію? Я бы такъ хотѣлъ!“ — „А позволятъ ли мнѣ хоть 10 дней по пріѣздѣ съ женой провести?“

„Мнѣ кажется, сердце мое отъ радости лопнетъ, пишетъ мнѣ одинъ волонтеръ. Повидаться съ моей семьей, найти модель одного моего изобрѣтенія. Отъ всего на свѣтѣ, кажется, отказался бы, только ѣхать въ Россію немедленно.“

„Когда же насъ отправятъ, пишетъ другой. Прошло три мѣсяца и еще ничего не извѣстно. Какъ это грустно ждать... Ни писемъ, ни вообще какихъ извѣстій, все заглохло... Остались однѣ лишь мечты...“

„Я 33 мѣсяца на позиціяхъ, никогда не былъ раненымъ — а вдругъ теперь, когда ѣхать въ Россію со мной случится несчастье. Прямо такія черныя думки у меня. Еще разъ я васъ прошу и тысячу разъ умоляю — отвѣчайте мнѣ, когда насъ пошлютъ!"

А на ряду съ этими простыми ежедневными письмами приходили другія, письма эмигрантовъ, политиковъ, для которыхъ возвратъ въ свободную свою Россію, за которую они боролись и въ прошломъ и теперь солдатами-добровольцами на французской землѣ, связывался съ огромной жаждой возврата на работу, на стройку, на настоящую, давно жданную жизнь.

Они томились, какъ плѣнные, они стучались во всѣ двери, писали знакомымъ и друзьямъ, подавали прошенія русскому военному атташэ, обращались во французское военное министерство — въ надеждѣ хоть гдѣ нибудь получить разрѣшеніе на отъѣздъ. Они не разсматривали свой отъѣздъ какъ освобожденіе отъ военной шинели, наоборотъ: Они хотѣли ѣхать сражаться противъ общаго врага только на родной, хоть и усталой и окровавленной землѣ. Они хотѣли бороться за Францію и Россію, бороться до послѣдней возможности, до смерти — но умирать легко и радостно можно было только у себя, — среди своихъ.

Вотъ что писали мнѣ солдаты въ мартѣ 1917 года.

„Я изнуренъ, искалѣченъ, переутомленъ этой ужасной траншейной жизнью, но вѣра въ необходимость побѣды надъ лютымъ врагомъ демократіи и цивилизаціи во мнѣ непоколебима.

Великія событія на родинѣ расширили нашъ горизонтъ. Самодержавіе гнилое рухнуло подъ тяжестью своихъ преступленій и свобода наступила для великой изстрадавшейся Россіи. Эта свѣтлая мечта о торжествѣ свободы, которую мы лелѣяли десятками лѣтъ, за которую погибло столько лучшихъ нашихъ братьевъ — наконецъ превратилась въ реальность. Но эту свободу надо укрѣпить. Иначе хрупка и недолговѣчна она будетъ..."

„Мы пошли съ энтузіазмомъ для защиты Великой Республики, очага демократическихъ идеаловъ и европейской цивилизаціи, на которую обрушились саранчей хищническія стаи Гогенцоллерновъ.

Мы должны отдать послѣднюю каплю крови на защиту свободы родной земли, которая такъ дорого стоила Россіи..."

„Изъ землянки траншеи шлю вамъ свой товарищескій горячій привѣтъ и благодарность за счастливую инціативу, которую вы на себя взяли.

Съ трепетомъ и нетерпѣніемъ жду эту счастливую минуту увидѣть родной край, по которому истосковался за 8 лѣтъ изгнанія."

„Благодарю васъ, дорогая Лидія Александровна, за письмо и поздравляю съ побѣдой Русскаго народа.

Я еще не знаю хорошенько во что выльется эта побѣда, т. к. газеты приходятъ съ большимъ опозданіемъ, но все-таки, я, кажется, сбѣшусь отъ радости... Третій день хожу надутый, какъ индюкъ, перепелнившись гордымъ сознаніемъ, что я — русскій...

Такъ и хочется подбочениться передъ Европой:

— Видишь, молъ, какъ мы, русскіе, дѣйствуемъ...

А вмѣстѣ съ радостью закрадывается въ душу чувство горечи на свою безпомощность, ненужность... Гложетъ зависть къ тѣмъ, которые въ Россіи.

— Обошлись безъ меня. Я тутъ стараюсь нанести вредъ, да и то больше мыслями самымъ обыкновеннымъ нѣмецкимъ солдатикамъ, а тамъ — Штюрмеровъ лупятъ!..

Хочется къ своимъ, хочется быть среди русскихъ; я теперь какъ именинникъ въ гостяхъ — и больше чѣмъ когда-либо французская солдатская шинель кажется тяжелой и стѣснительной!"

Вопросъ о созданіи пропагандистской военной миссіи изъ наиболѣе культурныхъ элементовъ волонтаріата для отправки въ Россію назрѣвалъ и среди солдатъ и въ „Оборонѣ." Цѣлый рядъ шаговъ былъ предпринятъ и во французскихъ военныхъ сферахъ и среди русскихъ вліятельныхъ людей — и, наконецъ, въ августѣ 17-го года первыя группы русскихъ добровольцевъ были отозваны съ фронта, — въ Парижъ. Въ то же время стала организовываться и пропагандистская миссія; руководимая французомъ, никакого представленія о русскихъ и Россіи не имѣвшаго, абсолютно къ своей роли не подготовленнаго — эта миссія на спѣхъ составленная, разнородная по составу — уже въ Парижѣ давала поводъ думать, что врядъ ли поставленная ей задача могла быть ею дѣйствительно серьезно и успѣшно выполнена. И дѣйствительно, выѣхавъ изъ Парижа осенью 17-го года, она пріѣхала въ Петроградъ въ день перваго возстанія, когда по городу уже разъѣзжали военные автомобили съ красными знаменами, когда слѣпыя митральезы разстрѣливали случайныя толпы.

Работа миссіи оказалась съ самаго начала пресѣченной; положеніе, въ которое она попала, двойственнымъ и фальшивымъ; бывали случаи, когда по инициативѣ отдѣльныхъ членовъ удавалось, наконецъ, выхлопотать нужныя бумаги, съ одной стороны подписанные военнымъ министромъ Керенскимъ, съ другой, шефами французской военной миссіи, — они уѣзжали на фронтъ, и на пути задерживались телеграфнымъ приказомъ Совѣта-анулировавшимъ всякія подписи лицъ, стоявшихъ у власти — и приходилось подчиняться и возвращаться съ пути...

Миссія распалась, распылилась.

И лишь немногіе торными путями добрались вновь до Франціи, что свѣтила издали роднымъ огонькомъ.

Около 600 человѣкъ русскихъ волонтеровъ уѣхали въ Россію. О немногихъ изъ нихъ дошли вѣсти въ Парижъ, да и тѣ, что дошли, были смутныя, невѣрныя.

Съ радостной жутью передъ невѣдомымъ, съ тоскливой грустью по Франціи, съ которой спаяли 36 мѣсяцевъ фронта — уѣзжали добровольцы домой. Какъ встрѣтила ихъ родина, что нашли они послѣ долгой разлуки — трудно сказать, обобщать нельзя. Только отзвуки отдѣльные, индивидуальные, рѣдко, рѣдко до насъ доходившіе, звучали жутко, холодили сердце ..

Событія разворачивались, вѣсть о сепаратномъ мирѣ пришла и ударила о сердце, точно снарядъ разорвавшійся, и какъ-то болѣзненно и безпомощно рванулась душа, мучительнымъ стыдомъ залившаяся.

Трудно было смотрѣть французамъ въ глаза, трудно было отвѣчать, то на гнѣвные, то на недоумѣвающіе вопросы, трудно стало... сознавать себя русскими.

Немногіе изъ оставшихся на фронтѣ волонтеровъ также болѣзненно реагировали на случившееся.

Началась переоцѣнка цѣнностей, люди стали искать причинъ и выливали и горечь, и боль въ обрывочныхъ мысляхъ, нестройно въ словахъ выливавшихся.

5 апрѣля 1 г.

„Хорошо поработали наши эмигранты," пишетъ мнѣ одинъ солдатъ.

„Удрали изъ Россіи, жили свободно здѣсь, могли наблюдать, сравнивать, видѣли, какую громадную роль сыграла Франція въ этой страшной войнѣ, видѣли, какъ она истощена, какимъ потокомъ лилась ея кровь, какъ гордо прятала она свои слезы... А они готовили русскую революцію въ барахъ и „Ротондахъ."

„И потомъ повылѣзли, какъ лягушки, изъ дыръ съ ихъ знаменитыми программами максимума.

Мы, молъ, держимъ въ рукахъ бразды Россіи.

„А она, теряющая ежедневно молодыхъ и даровитыхъ, не нуждается въ старомъ хламѣ Латинскаго квартала.

„Бельгія погибла за данное слово. Англія—та откликнулась истекающей кровью Франціи, Америка восторгается ею, и только русскіе „extremist'ы" съ St-Michel'я не нашли ничего другого, какъ заключить съ Германіей сепаратный миръ. Какъ же это мелко подло..."

Россія, жуткая и не всегда понятная, издалека пугала и мучила. И мысль тревожная уходила туда за уѣхавшими, за тѣ-

ми, что за время войны стали родными. А отъ нихъ не приходило ни отзвука.

Точно въ темную ночь подъ дождемъ, пропали на тряскихъ русскихъ дорогахъ...

Вернутся ли?

Сколько разъ говорили мнѣ разные люди, часто очень замкнутые и необщительные о томъ, что во время жизни на фронтѣ всѣ знакомые и незнакомые становились своими, близкими.

„Получилъ ваше славное письмо и очень ему радъ былъ," пишетъ мнѣ одинъ солдатъ. „Вы вотъ удивляетесь, что я „просто" написалъ вамъ „совершенно незнакомому человѣку". Но это совсѣмъ просто и понятно. Что вы человѣкъ мнѣ незнакомый — вѣрно. Но не чужой. Не знаю, но съ тѣхъ поръ, что я здѣсь, всѣ что тамъ — мнѣ близкіе, родные, не чужіе. За время моего добровольчества я получилъ много писемъ отъ людей незнакомыхъ. И въ то время, когда въ обычной жизни часто былъ бы затрудненъ уже началомъ письма въ отвѣтъ, формой обращенія, здѣсь какъ то охотно и свободно пишешь всѣмъ, и — не смѣйтесь и не думайте, что это для красоты слога — любишь всѣхъ.

Чудная жизнь на войнѣ, и никогда не могъ бы я предполагать раньше тѣхъ переживаній, внѣшнихъ и внутреннихъ, что пережилъ и переживаю. И, думаю, что не одинъ я такъ, а всѣ мы больше или меньше"...

Стерлись условности, рушились преграды, ушла затаенность. Душа раскрывалась каждому, кто хотѣлъ къ ней просто и любовно подходить. И ощущеніе, что пишешь незнакомому, котораго не видалъ, не зналъ, не появлялось никогда. Люди сживались съ тѣмъ образомъ, который они себѣ создавали, и любили его и тянулись къ нему

Помню лицо одного такого незнакомаго мнѣ корреспондента, который, пріѣхавъ въ отпускъ, съ нѣкоторымъ разочарованіемъ разсматривалъ мое лицо.

„А я то по письмамъ думалъ, что у васъ золотые волосы и длинная русская коса за спиной."

„А вы оказывается черная..." И ему было больно за образъ, что создался въ немъ и что жизнь разбила.

Письма создали родность и простоту, давали иллюзію близости, замѣнили пріѣзды, о которыхъ люди мечтали, какъ о свѣтлой радости.

Въ первые мѣсяцы войны отпусковъ не давали, и солдаты тоскливо ждали, когда же отдыхъ, тепло, уютъ, возможность говорить и быть услышаннымъ.

Такіе жданные они пришли.

Никогда не забудутся эти первыя ощущенія отъ встрѣчъ

и разсказовъ, отъ которыхъ радостно и жутко то замирала, то холодѣла душа.

Рѣзкій звонокъ и за дверью появлялось что то большое, неуклюжее, обвѣшанное мѣшками, мюзетками, каской и всякимъ добромъ, въ огромныхъ сапогахъ по щиколодку покрытыхъ грязью засохшей, со свѣтлымъ лицомъ, смѣющимся и счастливымъ.

И черезъ минуту комната наполняется какимъ то специфическимъ запахомъ влажныхъ шинелей, земли и кожи. На столахъ появляются осколки снарядовъ, ножи изъ нѣмецкой мѣди, аллюминевыя кольца, кусочки витражей и расплюснутыя, часто совершенно изуродованныя пули.

„А я вамъ варенье изъ Верденскихъ розъ привезъ... Весь Верденъ въ цвѣтахъ утопаетъ. Ну, вотъ, и сварилъ. Безъ сахара, правда, — а все же варенье!“

И съ любопытствомъ глядишь на горькую плотную массу лепестковъ, дорогихъ потому, что они оттуда, потому что они фронтъ.

Верденскія розы... Больно отъ нихъ въ груди...

Нагибаешься, разсматриваешь военные кусочки, кусочки войны — пришедшіе оттуда. А въ душу стучатся слова, порохомъ пропахшія, и простыя и страшныя какъ жизнь.

„Что, заждались, вѣрно, отпуска? Давно, вѣдь, вашъ чередъ!“

„О, еще бы — дни отсчитывалъ, часы, минуты, секунды, кажется. Вся психологія точно перевернулась.

Я вотъ сейчасъ хожу по вашей комнатѣ, трогаю знакомыя вещи и вспоминаю какъ тамъ, на фронтѣ, закрывъ глаза, сотни разъ вотъ эту, живую сейчасъ, минуту переживалъ, ждалъ. Сколько мысленно говоришь, бывало, съ вами оттуда — чуть что не вслухъ! Все разсказывать хотѣлось. А сейчасъ вотъ разсказываю и все кажется не успѣю всего разсказать — а выпираетъ, чортъ возьми, не удержишь!

И мысли какія то новыя появились, и жизнь точно шире стала.

Когда я былъ въ траншеяхъ, у меня сдѣлалось очень ограниченное поле зрѣнія. Оно отмежевывалось виднѣвшимся вдали, за три, четыре километра отъ насъ, лѣсомъ. И дальше него дума не шла. А когда сталъ ждать отпуска, точно все раздвинулось. Мысль начала уходить за лѣсъ, за поле, за ту дорогу, которая, можетъ быть, тамъ вьется. И появился животный, непобѣдимый страхъ, что могутъ тебя убить — за пять дней до отпуска. Стоишь на часахъ и чувствуешь, какъ холодный потъ выступаетъ отъ малѣйшаго шороха. И стыдно, и странно. Вст-

ный крестъ за храбрость получилъ, во время самой страшной опасности анекдоты разсказывалъ, полное спокойствіе сохранялъ, — а тутъ, поди жъ ты! И не я одинъ такъ.

Звѣриный страхъ нападалъ на самыхъ смѣлыхъ въ дни, предшествовавшіе отпуску. Какъ бомбардировка, начинается непобѣдимое желаніе спрятаться, уйти. И были случаи отказа, подъ страхомъ наказанія, итти въ патруль, только надо сказать, что начальство съ этимъ считалось. Нашъ капитанъ, напримѣръ, по выраженію лица понималъ.

„Permissionaire? Ah, bon! Restez!“

А ужъ на смерть смотрѣть въ эти дни силъ нѣтъ, какъ бывало, въ первые дни войны, въ первыхъ бояхъ, когда еще душа не такая мозолистая, какъ теперь, была.

Разсказать развѣ вамъ нашу первую ночь на фронтѣ? Только не устанете ли? Мнѣ вѣдь говорить то еще о многомъ охота. Нѣтъ?

Ну, слушайте. Разскажу, какъ съумѣю, а за сбивчивость простите.

Дѣло было въ концѣ октября...

Мы шли по дорогѣ, ужасной, несказанно ужасной дорогѣ.

Жидкая, сѣрая муть доходила до колѣнъ. Отъ нея исходило невѣроятное зловоніе. Ботинки наполнились водой. Наконецъ съ необыкновенными трудностями выбрались на сухое мѣсто. Траншеи уже недалеко, гдѣ то въ сторонѣ. И, дѣйствительно, мы скоро дошли до второй линіи. Лѣсъ весь изрытъ землянками.

Наша рота осталась на ночь заставой въ лѣсу на дорогѣ. Одинъ изъ насъ стоялъ на часахъ, другіе спрятались въ лѣсу. Страшно клонитъ ко сну. Лѣсъ буквально наводненъ отъ росы. Сверху безпрерывно капаетъ. Желтые, осенніе листья нѣсколькими слоями покрываютъ почву. Деревья и капли воды производятъ безпрестанный, монотонный шумъ.

Такъ прошла наша первая ночь въ лѣсу. Мы были въ тылу на 500 метровъ отъ первой линіи.

Цѣлый день ухали пушки и нѣмецкія marmittes взрывались то здѣсь, то тамъ Только и видны были высокіе столбы дыма, снесенныя верхушки деревьевъ и большія рытвины въ землѣ. Наша батарея стояла на холмѣ, совершенно замаскированная. Она ударяла необыкновенно сильно; казалось какое то гигантское, допотопное животное завывало всѣми силами, вытянувшись далеко впередъ на своихъ четырехъ лапахъ.

Вечеръ, уходъ. Страшная перестрѣлка. Продолжается атака, мы идемъ для подкрѣпленія. Траншеи. Устраиваемся въ темнотѣ.

То и дѣло внезапныя тревоги и перестрѣлка. Двойной часовой въ канавѣ у выхода. Аванпосты у холмовъ.

Ночью, съ предосторожностями, боясь встрѣтиться съ нѣмецкими патрулями, входимъ въ Краонель, доходимъ до траншей въ полномъ молчанiи. Нѣмцевъ нѣтъ. Размѣщаемся въ траншеѣ. Странный видъ ея. Наблюдательныя амбразуры. Песчаныя рытвины и поочередная стража на часахъ.

А утромъ сняли насъ съ этихъ траншей, и началась новая работа.

Изъ сломанныхъ дверей, столовъ, матрацовъ — большихъ мягкихъ обывательскихъ матрацовъ — устраивали мы шалаши. Утаскивали подушки, солому, закрывали всѣ щели отъ вѣтра, съ любопытствомъ осматривали деревню.

Краонель.

Дома совершенно разрушены. Стѣны, пробитыя, изрѣшетенныя повсюду снарядами, держатся кое-гдѣ какимъ то чудомъ. Въ квартирахъ все въ безпорядкѣ. Хозяйничали и нѣмцы нѣсколько разъ, хозяйничали и французы. Изъ дорогихъ шелковыхъ платьевъ солдаты дѣлали себѣ молетьеры. Зеркала, часы, кресла, картины, вазы ломались и рвались безпощадно, точно съ досады, что нельзя ихъ было унести съ собой. Банды легiонеровъ сладострастно рыли по погребамъ, ища вина, и находя его бочками.

А потомъ наша ночь въ шалашѣ...

Горитъ свѣча, сгораетъ, ее замѣняютъ новой изъ разграбленной церкви, гдѣ найдено было много восковыхъ свѣчей.

Всѣ молчатъ, каждый думаетъ, оперпшись о ранецъ. Одѣяло свернуто, и нечѣмъ накрыться. Холодно, дрожишь. Чего-то томительно, съ тайной боязнью ждешь. Никто не вымолвитъ слова. Каждому нужно о чемъ-то подумать, что-то рѣшить.

Свѣча колеблется, въ шалашѣ холодно, въ щели дуетъ...

Кто знаетъ, что чувствуетъ каждый изъ насъ, что чувствуютъ другiе. Все казалось непроницаемымъ въ ту ночь... Я заснулъ...

. . . .

А на утро насъ разбудилъ не то звонъ, не то свистъ, длинный и ужасно быстрый.

Громадный ударъ и все вздрагиваетъ. Разорвался снарядъ, недалеко на равнинѣ густой столбъ дыма взвивается къ небу.

Мы опять въ траншеяхъ.

Меня отсылаютъ за обѣдомъ... Снова длинный переходъ по узкимъ каналамъ, выходъ, полотно желѣзной дороги. И все то, что казалось неразгаданнымъ ночью, становится яснымъ при свѣтѣ дня. Безконечно ровная поверхность перерѣзана окопами; бѣлыя насыпи тянутся вдоль и зигзагообразно. По одну сторону рельсъ стоитъ высокiй, густой лѣсъ.

То здѣсь, то тамъ валяется по землѣ вооруженіе и солдатская утварь, какъ нѣмецкая, такъ и французская: саки, ранцы, патронташи, пули, кепи, котелки... Тутъ же рядомъ могильный холмикъ съ крестомъ изъ двухъ вѣтокъ, красное кепи, на крестѣ еловый вѣнокъ и надпись: „Убитъ осколкомъ снаряда. Отъ товарищей."

Иду дальше... Красные, пестрые зуавы, жирногубые негры, черные сенегальцы со сплюснутыми носами улыбаются, хохочутъ, бѣгутъ, работаютъ, хлопочутъ, носятъ срубленныя деревья, хлѣбъ въ мѣшкахъ и все это въ какихъ нибудь 400 метрахъ отъ врага, подъ громомъ пушекъ и лопающихся снарядовъ.

На низкой лужайкѣ цѣлый рядъ костровъ.

Лѣсъ закрываетъ и дымъ, и огонь отъ непріятеля.

Я вхожу въ траншею - длинный корридоръ, замкнутый въ узенькомъ каналѣ неизмѣримой длины; поворачиваюсь, то направо, то налѣво, то кругомъ, и вдругъ начинаю понимать, что я заблудился. Нервы напрягаются, въ головѣ застываетъ мозгъ отъ одуряющаго однообразія. Я спѣшу, бѣгу, мчусь, меня давитъ отчаяніе — я задыхаюсь, положительно задыхаюсь... Тюрьма, могила безъ воздуха въ два локтя ширины, проклятыя бѣлыя стѣны.

Я останавливаюсь, крѣпко закрываю глаза рукой, прижимаюсь къ стѣнѣ.

Свистъ снаряда .. Приникаю къ землѣ, невольно жмуря глаза... Трескъ, гулъ, раскатъ... Тихо .. Еще трескъ... еще... все чаще и чаще падаютъ снаряды, то здѣсь, то тамъ. Съежиьаешься при каждомъ свистѣ. Что-то зарождается далеко со слабымъ, желѣзнымъ звукомъ, срывается, растетъ и разрѣшается въ такой раскатъ, въ такой дикій взрывъ, что ушамъ дѣлается больно, а все внутри сходится къ животу.

Странное ощущеніе сжатости...

А кругомъ смерть. Окровавленные одѣяла, далекіе стоны.

Война... Мы на войнѣ...

И, знаете, послѣ ужъ смерть не такъ страшна стала. А вотъ страданія физическія - о нихъ и по сейчасъ вспоминать жутко. Газы, раненія и холодъ. Холодъ мокрый, пронизывающій, холодъ свирѣпый, сухой; не знаешь, чѣмъ прикрыться, какъ мокрыя ноги согрѣть. Навалишь на нихъ мѣшки съ землей и отъ тяжести какъ будто перестаешь въ пальцахъ иголки острыя чувствовать. А если болѣть перестало — значитъ плохо. Отморозилъ ноги. Пальцы не разъ у солдатъ отпадали, да и заснувшіе не всегда просыпались.

Вспомнилъ я ночи, десять ночей, что мы на côte 304 провели. Десять ночей не сомкнули глазъ. Какъ темнѣло — нѣмцы атаку начинали. Шли тремя густыми колоннами, бросавъ до 4.000 снарядовъ, пропитанныхъ газами, въ траншеи, зная, что гдѣ-то

должна артиллерія находиться. Пѣхота была снята, и наши артиллеристы въ паникѣ бросились бѣжать, и черезъ 10 минутъ пушки, траншеи, запасы — все было забрано, какъ игрушки.

Простой математическій разсчетъ, математически оправдавшійся.

А вслѣдъ имъ волнами удушливые газы пускались, и наши, не выдерживая, задыхаясь, подъ предохранительными масками чувствуя, какъ стучитъ въ вискахъ, а къ горлу поднимается тошнота, срывали ихъ съ лица, кидались на землю и грызли все, что попадалось.

Удушливые газы ... Какая же это ужасная вещь! Надѣваешь маски, стѣнки пропитываются, голова болитъ, въ животѣ колики — а снять нельзя; бывало по 6-ти часовъ въ нихъ пробыть приходится.

А потомъ новые газы нѣмцы выдумали: втеченіе 20 часовъ ихъ не замѣчаешь, не чувствуешь, не видишь, а потомъ начинаешь слышать запахъ горчицы, а потомъ — смерть.

Недавно атаку страшную пережить пришлось. Людей косило кругомъ. Кто отъ газовъ по землѣ ползаетъ, корючится, кто отъ ранъ. Изъ 800 человѣкъ 14 осталось.

6 дней въ траншеяхъ — вы себѣ представляете, что это такое?

6 вѣковъ. И когда входитъ въ нее человѣкъ, онъ можетъ съ увѣренностью сдѣлать свое завѣщаніе. Безъ отдыха, безъ остановки снопами падали осколки, непрерывная перестрѣлка, дымъ, огонь — точно вулканъ раскинулся.

А траншеи ... Каждая пядь земли покрыта кусками мяса человѣческаго, залита кровью, гнилью. Клозетовъ никакихъ, вылѣзать наверхъ нельзя, а было насъ 800 человѣкъ. Запахъ такой, отъ котораго потерять сознаніе можно. Солдаты работали непрерывно машинами, очищая траншеи, чтобы вздохнуть можно было. Многіе надѣвали на лицо маски, чтобы только не слышать хоть часъ вони отравной. Ничего не помогало, и, увѣряю васъ, что когда мы вышли изъ этого ада, и когда насъ посадили въ каміоны, чтобы отправить за 8 километровъ отъ фронта — мы больше отребья человѣческія напоминали, чѣмъ людей. Пріѣхали въ деревню. Бросился я на солому и спалъ 30 часовъ, не пивши не ѣвши.

Да. Тотъ, кто уцѣлѣлъ послѣ этого — кое черезъ что прошелъ. Я всегда вспоминаю слова одного француза: „Il y a des choses tout de même, qui ne s'oublient pas. Sistème mort, c' est pas une blague, mon vieux!"

Одна мысль вами владѣетъ — только бы выйти! Одному товарищу руку оторвало — такъ онъ боли не чуствовалъ и все повторялъ „Какое счастье! Раненъ! Эвакуируютъ теперь!"

И, знали бы вы, во что въ такія минуты человѣкъ превращается. Теперь повторять пересказывать и то страшно, а тогда ...

Товарищъ одинъ умеръ. Гробъ ему сколотили, — положи-

ли,—ушли. Вернулись голодные, какъ дьяволы. Кругомъ грязь не пройти. Взяли хлѣбъ, коробки наши на гробъ поставили, да и поѣли. Одинъ пришелъ съ патруля голодный, продрогшій. Глядитъ — на соломѣ человѣкъ при послѣднемъ издыханіи. Умираетъ. Вытащилъ у него изъ кармана хлѣбъ, снялъ бидонъ съ виномъ, поѣлъ. Все равно умираетъ — чего жъ!

Ко всему привыкаешь. И кажется иногда, что если бы не французское „Ne t'en fais pas," не изумительная добродушная выносливость—не перенесъ бы всего. А тутъ увидишь иногда полубѣлыхъ резервистовъ, услышишь знакомое „Ça ne va donc pas, les petits amours!? Ils vont bientôt se mordre les pattes, chameaux!" и сразу легче становится и живешь, какъ живутъ они, какъ жили всѣ тогда.

И война, и раненія, и смерть становится чѣмъ то привычнымъ и очень простымъ.

Смерть... Помню, летѣлъ однажды баллонъ, и страшнымъ порывомъ вѣтра его отнесло у насъ на глазахъ въ нѣмецкія линіи. Съ высоты 4.000 метровъ два пилота сбросили парашюты и стали падать. Одного занесло въ проволочныя загражденія — разбился совсѣмъ. Другой повисъ на колокольнѣ старой церкви — искалѣченъ былъ но остался жить.

А церковь эту я никогда не забуду. Обюсомъ снесена Богоматерь съ младенцемъ упала она перпендикулярно, повисла въ воздухѣ и кажется издали, что женщина съ ребенкомъ бросается внизъ съ безумной высоты.

„Смерть пахнетъ", сказалъ какой-то товарищъ...

Вспомнилось мнѣ сейчасъ почему то..."

Въ комнатѣ тихо... Знакомыя вещи точно завернулись — пропали... Мысль тянется черезъ стѣны въ поле — туда, на фронтъ.

На столахъ повсюду — разбросаны ленты отъ митральезъ, малыя пули, кусочки мѣди.

И слоза, простыя и жуткія, падаютъ въ душу.

Поздно какъ...

Трудно говорить о томъ, какъ отразилась война на психологіи человѣческой, трудно дѣлать какія-либо обобщенія. Каждый жилъ и воспринималъ ее по-своему, мѣнялся и выросталъ.

Несомнѣнно одно, что фронтъ прошелъ глубокой бороздой черезъ душу, вспахалъ ее и зерна разныя разсѣялъ въ ней.

Мнѣ пришлось говорить со многими, и впечатлѣнія, разрозненыя и индивидуальныя, что остались отъ этихъ встрѣчъ, мнѣ и хочется импрессивно и обрывочно передать. Конечно, они не

общи всей массѣ солдатской, но несомнѣчно, что въ разныхъ варіаціяхъ, быть можетъ, минутно они переживались многими.

Чувство извѣстнаго романтическаго лиризма у нѣкоторыхъ, высказаннаго интеллигентскими, у другихъ простыми и незамысловатыми словами, лиризма, подчасъ граничившаго съ религіознымъ исканіемъ Креста и Бога, прорывалось не единожды въ письмахъ солдатскихъ.

„Пахнетъ весной," пишетъ мнѣ одинъ волонтеръ, „появились мустики, стало тепло, я оживаю, въ меня входитъ радость. Не люблю я траншейной войны, нѣтъ жизни тутъ.

Нескладно пишу сегодня. Пишите мнѣ. Пишите въ ваши грустныя минуты въ весеннихъ сумеркахъ, послѣ работы, пишите, что переживаете въ эти нѣжные часы, когда такъ красиво мечтать и грезить, и когда такъ легко умирать.

Спасибо за дивное слово братъ. Всей душой хочу я черезъ все доброе, что есть во мнѣ, быть братомъ тѣмъ, въ комъ я ощущаю притаившееся горе, тоску надломленой души, и издалека хочется мнѣ въ эти грустныя минуты заката послать вамъ свою ласку. Примите ее

Я живу непоколебимой вѣрой въ моего Бога, Бога Любви и Всепрощенія.

Да, я — еврей, но какъ часто на отдыхѣ въ деревняхъ, искалъ я въ церкви, но не такъ, какъ вѣрующій въ нее — силу у подножья Его Распятья.

И сейчасъ хотѣлось бы церковной тишины и Креста.

Настроеніе путанное у меня сейчасъ, но вы поймете меня. Правда?...

. . . .

„Простите, что отвѣчаю вамъ на этомъ клочкѣ и кратко. Благодарю за ласку и за память. Я способенъ сейчасъ наговорить гору всякой всячины такъ хорошо и молодо на душѣ. Минуты эти въ жизни рѣдки. И вотъ они все учащаются и учащаются. Трудно объ этомъ разсказать въ нѣсколькихъ словахъ. Это изъ той породы переживаній, которыя такъ богато отмѣчаетъ и въ твореніяхъ и въ жизни и смерти своей нашъ герой Л. Толстой.

Мы только что пришли на отдыхъ въ большую деревню. Усадьба помѣщичья, большія елки, окутанныя еще предразсвѣтнымъ туманомъ. Мы вошли въ какое то крытое зданіе, типа бесѣдки. По стѣнамъ книги, громадный деревянный каминъ, стоятъ посреди столы и кресла empire. Съ балкона далекій видъ, а справа чертитъ четкимъ силуэтомъ романская старая колокольня. Я вышелъ на балконъ, постоялъ минутку и почувствовалъ, что жизнь прекрасна не только въ своихъ высотахъ но и обыкновенная жизнь, обывательская, или вѣрнѣе та, которая слыветъ подъ рубрикой счастливой, прекрасна, и счастье именно

въ этой обыденности, въ мелочахъ, въ уютѣ земномъ. Въ первый разъ я можетъ быть понялъ всѣмъ существомъ многое изъ „Войны и Мира“ Толстого. Боже, какъ прекрасно на землѣ и какъ мы недостойны даже земнаго счастья...“

. . . .

„Мнѣ все идетъ лучше, но отъ моей семействе отвѣту нѣтъ. Страдаю на свѣтѣ...“ - въ другой формѣ та же тоскливая, грустная нотка.

Тоска по семьѣ, по уюту и миру рождалась у самыхъ одинокихъ, у людей казалось бы обреченныхъ на холостую жизнь; тоска по работѣ кабинетной, книжной наростала, какъ реакція противъ непривычной физической работы, забиравшей всѣ силы и, какъ слѣдствіе совмѣстной жизни, шумной и нескладной, не дававшей человѣку и часа побыть одному.

„Писать стихи захотѣлось — вѣдь вотъ до чего дошелъ,“ застѣнчиво разсказывалъ одинъ волонтеръ, по внѣшнему виду котораго ясно было, что врядъ ли до войны мысль о стихахъ пришла бы ему въ голову.

Были реакціи, еще болѣе любопытныя. Люди въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ силу тяжелыхъ жизненныхъ условій, жившіе въ состояніи внутренней прострации, неспособные къ работѣ и къ активному выявленію своего я выпрямлялись во весь ростъ, становились въ ряды, стряхивали оцѣпенѣлость душевную, — начинали жить.

Чрезвычайно интересно это оживаніе подъ прикосновеніемъ вихря нахлынувшаго. Мягкотѣлость душевная спадала, какъ ветхая оболочка, и подъ ней выпрямлялся человѣкъ.

Война несла въ стихіи своей волну возрожденія творческую силу, къ творческому разрушенію направленную. И этотъ, можетъ быть, съ виду кажущійся парадоксъ былъ чрезвычайно глубоко пережитъ очень многими волонтерами.

Художникъ, въ мирное время метавшійся, мучительно искавшій въ искусствѣ отвѣта на тяжкіе вопросы жизни, проводившій въ тоскѣ длинныя безсонныя ночи, рвавшій и каррикатурившій свои лучшія работы, писалъ мнѣ съ фронта: „Во мнѣ наступилъ какой то большой миръ. — Я переживаю странное счастье.“

Соприкосновеніе съ реальной жизнью, хотя бы кровавой, кошмарной, но съ жизнью, близость къ природѣ, къ закату и восходу солнечнымъ, къ хвойнымъ лѣсамъ и ночнымъ шумамъ — давала миръ, такъ долго, тщетно исканный въ искусствѣ, въ мертвыхъ формахъ, которыя человѣку не дано было оживить. И люди испытывали счастье, покой, незнаемый никогда ранѣе. Происходилъ кромѣ того процессъ опростѣнія жизни. То, что раньше не являло никакой цѣнности коробка спичекъ, папироса, теплая фуфайка, ласковое письмо, стало играть огромную

роль, стало имѣть свою цѣнность и значеніе. Люди, раньше въ жизни не находившіе себѣ примѣненія, либо жившіе въ сѣромъ повседневномъ трудѣ, либо просто шатавшіеся по свѣту, нашли свое мѣсто, почувствовали право на это мѣсто и душевно стали на ноги.

Чрезвычайно любопытна въ этомъ отношеніи фраза изъ письма одного стараго волонтера, написаннаго нѣсколько мѣсяцевъ послѣ окончанія войны, когда человѣкъ вновь вошелъ въ колею жизни, отъ которой его отдѣляли 5 лѣтъ жизни.

„Какъ хорошо было на войнѣ! Я такъ всѣхъ любилъ, я ненавидѣлъ нѣмцевъ. Я зналъ, зачѣмъ я жилъ. Зачѣмъ меня не убили? Я бы умеръ такой хорошій, чистый и радостный . . ."

Для однихъ война была содержаніемъ, временнымъ смысломъ жизни, для другихъ она являлась спортомъ—опаснымъ, занятнымъ, увлекающимъ. И такихъ спортсменовъ, думается мнѣ, было не мало. Авантюристы, не разъ въ штатской жизни ставившіе свою жизнь на карту изъ-за самолюбія, оскорбленной чести, или любимой женщины, не колеблясь пошли въ волонтеры, когда грянула война. И такіе съ легкой улыбкой шли въ атаки, и, можетъ-быть, съ тою же улыбкой умирали въ бояхъ.

Многоликимъ былъ русскій волонтаріатъ. По разному шли, по разному жили и умирали добровольцы, отъ которыхъ теперь осталась такая малая кучка людей. Залетныя пули остановили не одну творческую мысль, несшую въ зародышѣ своемъ новое начало, молодое и нужное.

Память о нихъ застываетъ, но то, во имя чего они пошли, ростетъ, робко пробиваясь, какъ подснѣжникъ изъ снѣга. И хочется, хочется страстно вѣрить, что не зря была принесена жертва кровавая, снопъ молодой.

Хочется вѣрить, что, какъ въ культивированныхъ садахъ, по веснѣ срѣзаютъ первыя свѣже распустившіяся вѣтки, чтобы махровымъ цвѣтомъ потомъ листва распустилась, такъ и жизни лучшія, юныя срѣзались, какъ вѣтки зеленыя, во имя настоящей правды и красоты будущей жизни человѣческой.

Далеко въ поляхъ кресты разбросаны. Простые, сѣрые. Тамъ и тутъ густые, бѣлые букеты травы изъ земли вырываются... изъ могилъ...

Зеленымъ уборомъ единымъ для всѣхъ- покрытыя, спятъ

могилы подъ вѣтромъ, подъ солнцемъ, подъ каплями дождя падающаго.

Только ночью изъ городовъ, изъ комнатъ стихшихъ, уютомъ овѣянныхъ, отъ изголовій дѣтей уснувшихъ, волной невидною женская мысль скорбная въ поля тянется...

Тянется истрадавшаяся затихшая, въ глубь ушедшая, обнимая крестомъ широкимъ, общимъ могилки разбросанныя... своихъ... родныхъ...

что никогда больше назадъ не вернутся.

Парижъ

11/XII 1919 г.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ПИСЬМА СЪ ФРОНТА.

Письма съ фронта... Кусочки души человѣческой.

Такъ и привожу я ихъ, разбросанныя, несвязныя, безъ классификацій и рамокъ.

Пусть останутся они отзвукомъ правдивымъ большой жизни, прожитой — каждымъ по своему — одинокими людьми, по теплу и близкимъ истосковавшимся.

Пусть останутся они въ громадномъ большинствѣ своемъ безымянными...

13/XI 1915 г.

М. Г.

Я получилъ сегодня Вашу посылку и не нахожу словъ, чтобы выразить Вамъ мою благодарность. Въ немъ, кромѣ вкусныхъ и полезныхъ припасовъ я нашелъ такъ много теплаго, привѣтливаго, материнскаго вниманія, что мнѣ казалось, что я не одинокъ.

Увы, Вы никогда не угадаете, не поймете съ какимъ счастьемъ и дѣтскимъ волненіемъ мы разбирали и разсматривали маленькіе пакеты—они казались намъ святыми. Какъ пріятно, возвращаясь изъ траншей усталыми, покрытые грязью, найти такой привѣтъ отъ соотечественниковъ

Пусть будутъ благословенны и та инициатива и тѣ руки, которыя работали для насъ. Пока живъ не забуду.

...Т...

Суббота 13-го ноября.

Дорогой товарищъ

Лидія Александровна,

Получилъ Ваше славное письмо и очень ему радъ былъ. Вы вотъ удивляетесь, что я „просто" написалъ Вамъ „совершенно незнакомому человѣку". Но это совсѣмъ просто и понятно. Что Вы человѣкъ мнѣ незнакомый - вѣрно. Но не чужой. Не знаю, но съ тѣхъ поръ, что я здѣсь, всѣ, что тамъ, мнѣ близкіе, родные, не чужіе. За время моего добровольчества я получилъ много писемъ отъ людей незнакомыхъ. И въ то время, когда въ обычной жизни я часто былъ бы затрудненъ ужъ началомъ письма въ отвѣтъ, формой обращенія,--здѣсь какъ-то свободно и охотно пишешь всѣмъ и не смѣйтесь и не думайте,что это для красоты слога,--любишь всѣхъ. Чудная жизнь на войнѣ, и никогда не могъ бы предпологать тѣхъ переживаній внѣшнихъ и внутреннихъ, что переживалъ и переживаю. И думаю, что не одинъ я такъ, а всѣ мы, больше или меньше. Васъ, тамъ назади, больше жал-

ко, намъ тяжело. Правда, мы много физически страдали, ну и жизнью рискуемъ, но это не все. Зато чувства наши сильно притупились, хотя бы отъ одной усталости, и мы меньше думаемъ, меньше чувствуемъ, меньше томимся душевно. А это самое страшное — душевная мука, и поэтому мнѣ васъ всѣхъ такъ жалко. Вотъ вы, напримѣръ, говорите: „хоть бы вѣрить, что это кому-нибудь нужно"... И въ этомъ самая большая тоска Ваша.

Я, вотъ, вѣрю. Вѣрю, что это неизбѣжно-необходимо. Раньше не было неизбѣжно, и нужно было всѣми силами бороться противъ этой катастрофы. Но разъ она грянула, я въ одномъ только вижу спасеніе: это довести ее до „конца" (ставлю ковычки для удовлетворенія „Нашего Слова"). И только въ этомъ — возможность вернуться къ нашимъ идеаламъ и надеждамъ на лучшую жизнь, на лучшее человѣчество. Это моя сильная вѣра дѣлаетъ то, что, несмотря на моменты унынія, тоски, душевной и физической усталости, опять встряхиваюсь и нахожу и до конца буду находить въ себѣ новыя силы. Вѣра есть — силъ хватитъ, и я отъ души и Вамъ желаю такой же вѣры.

Курьезная вещь: передъ этимъ письмомъ сталъ я писать одному товарищу, тоже незнакомому, который присылалъ мнѣ газеты. И вотъ я пишу ему, что льетъ безпрерывный дождь, холодно. Настроеніе скверное и неохота писать. И ограничился почти этимъ. Перечиталъ Ваше письмо, сталъ писать и разсказывать о своей вѣрѣ и обо всемъ забылъ, и холодъ, и обо всемъ... Приходится кончать. Велятъ тушить свѣчу. Какъ разъ охота писать. Ну, ничего, въ другой разъ. На сегодня безропотно подчиняюсь discipline militaire — reglement de l'interieur du cantonnement.

Крѣпко жму Вашу руку.

Вѣроятно получу второй отпускъ, но послѣ всѣхъ, значитъ мѣсяца черезъ два. Это faveur за участіе въ атакѣ. Полкъ cité à l'ordre de l'armée.

ПИСЬМА ЛЕТЧИКА ВИКТОРА ФЕДОРОВА.

3 августа 1915 г.

Милая Лидія Александровна!

Получилъ вчера Ваше письмо. Большое Вамъ спасибо. Мнѣ очень пріятно знать, что Вы рады за меня. Сознаюсь, что я себя чувствую теперь здѣсь много лучше, чѣмъ когда я писалъ Вамъ. Даже чувствую какое-то внутреннее обновленіе. Атмосфера очень хорошая. Публика славная, начальство тоже. Кромѣ того работа, за которой видишь смыслъ и большое значеніе, даетъ удовлетвореніе, котораго не хватало тамъ. Правда, обученіе мое не идетъ такъ хорошо, какъ я думалъ и какъ хотѣлъ, но все же летаю почти каждый день. Хорошо! Когда взлетишь, какъ то все сразу мѣняется. Попадаешь вѣдь въ океанъ. И вотъ многія явленія, къ которымъ привыкъ, исчезаютъ. Напримѣръ скорость. Летишь и не замѣчаешь ея, слишкомъ она ничтожна въ сравненіи съ океаномъ. Если посмотришь внизъ, она замѣтна, — убѣгаетъ земля, но медленно, черепашьимъ шагомъ. Другое явленіе: головокруженіе. Его нѣтъ. Говорятъ, что это потому, что нѣтъ точки опоры. Еще одно интересное ощущеніе: полная увѣренность въ аппаратѣ, ни одного сомнѣнія. Отсюда покой и абсолютное хладнокровіе. Когда летишь сверху внизъ, чтобы сѣсть на землю, скорость становится очень замѣтной. Это похоже на паденіе, но никакихъ непріятныхъ ощущеній нѣтъ.

Пробуду здѣсь, вѣроятно, мѣсяца два, а затѣмъ на фронтъ. Мнѣ это кажется безконечно долгимъ, но время идетъ такъ быстро, что я надѣюсь выбраться отсюда, не успѣвъ оглянуться.

26 января 1916 г.

Дорогая Лидія Александровна!

Пользуясь свободнымъ часомъ, чтобы черкнуть Вамъ болѣе обстоятельно. По правдѣ сказать, мнѣ приходится дѣлать это съ нѣкоторымъ усиліемъ, такъ какъ настроеніе нехорошее благодаря всякимъ неудобствамъ. Сижу въ кафе. У себя совершенно не въ состояніи что-нибудь дѣлать: нѣтъ ни стола, ни стула, ни перьевъ, ни чернилъ, словомъ полная пустыня.

Eskadrille, въ которую я попалъ — eskadrille de chasse Разскажу коротко о своемъ первомъ полетѣ. Долженъ замѣтить, что т. к. у меня своего аппарата еще нѣтъ, то временно мнѣ дали старый, уже послуживший „coucou" о которомъ мнѣ кратко было сказано: — „fatigué". Наша задача — нести караулъ на высотѣ 3-хъ тысячъ метровъ и больше и въ случаѣ появленія „бошей", вступать съ ними въ бой, запрещая всякій полетъ къ сторону Франціи Вотъ съ такой миссіей я и отправился 23-го января имѣя пассажиромъ поручика Т., который долженъ былъ служить мнѣ проводникомъ, пулеметчикомъ и наблюдателемъ. Несмотря на уставший аппаратъ, я довольно быстро поднялся на 2000 и взялъ направленіе къ непріятельскимъ позиціямъ. Издалека я увидѣлъ тонкія ниточки нашихъ и нѣмецкихъ траншей, тысячи булавокъ-кольевъ проволочныхъ загражденій, извивавшихся прихотливыми зигзагами, почти параллельно одни другимъ. Внизу было повидимому спокойно: я не видѣлъ ни артиллерійской стрѣльбы, ни взрывовъ снарядовъ.

День былъ необычайно ясный. Видѣть можно было на сотни километровъ. Я занялся изученіемъ мѣстности, сравнивая крошечную карту, лежащую передо мной, съ гигантской картой, разстилавшейся внизу. Удивительно, что до сихъ поръ я не могу привыкнуть къ величавой картинѣ, которую представляетъ земля сверху. Эти сотни деревень, похожихъ на ласточкины гнѣзда, эти пестрыя разноцвѣтныя поля, лѣса — безформенныя зеленыя пятна, дороги, похожія на линіи на картѣ, рѣки, канавы, озера, ярче всего выдѣляющіяся на картинѣ — всякій разъ поселяютъ во мнѣ какое-то странное чувство красоты и странной гордости и презрѣнія къ этому величію. „Велика ты, матушка земля, а вотъ.. " Чудно это! Смотрю сверху, любуюсь и разцвѣтаю. И вотъ, вдругъ, все это исчезаетъ: передо мной просто карта, если хотите, нѣсколько болѣе точная, чѣмъ карта генеральнаго штаба, но карта и больше ничего Я различаю примѣтные пункты, на случай, если заблужусь, называю деревни, лѣса, рѣки по ихъ именамъ, выбираю гладкія мѣста на случай, если меня „спустятъ", отмѣчаю границы моего участка, разыскиваю глазомъ „полотна" (какъ крестики на обыкновенной картѣ) нашихъ воздушныхъ (на землѣ) постовъ, указывающихъ намъ направленіе непріятельскихъ аппаратовъ, если таковые были. Словомъ, какъ то разомъ исчезло то, что я назвалъ бы „душой" земли, и осталось только то, что мнѣ нужно для моего дѣла,— ея тѣло, изборожденное линіями и „отмѣтками".

Но вотъ мой обсерваторъ забезпокоился: указываетъ внизъ и дѣлаетъ отрицательные знаки. Я смотрю, но ничего не вижу. Но я понялъ: внизу непріятельская батарея противъ воздушныхъ гостей,— надо поворачивать, такъ какъ имѣю формальный запретъ держаться на приличной дистанціи. Повернулъ, но тотчасъ снова знаки: мой обсерваторъ что-то видитъ на горизон-

тѣ. Я доволенъ; б. м. мой первый выходъ ознаменуется первымъ воздушнымъ боемъ. Я поднимаюсь выше, чтобы имѣть возможность атаковать сверху. Обсерваторъ одабриваетъ мой маневръ. Значитъ я не ошибся. Я ищу глазами въ указанномъ направленіи. Поворачиваюсь лицомъ, но ничего не вижу. А спутникъ мой напряженно смотритъ туда черезъ бинокль, пробуетъ пулеметъ. Наконецъ, и я увидѣлъ жданную птицу. Я пустилъ всѣмъ ходомъ аппаратъ въ ея направленіи, но тотчасъ же увидѣлъ, какъ она быстро стала спускаться и исчезла скоро. Я не могъ претендовать, надо было возвращаться. Жаль. Снова носимся надъ нашимъ участкомъ взадъ и впередъ. Скука смертная. Взглядываю на часы ежеминутно. Стало холодно. И ко всему, моторъ слѣва началъ пошаливать: одну минуту совсѣмъ было остановился и мнѣ большихъ усилій стоило возстановить равновѣсіе стараго, уставшаго сои оп. Скоро мой моторъ сталъ задыхаться и я долженъ былъ вернуться, пробывъ въ воздухѣ полтора часа.

Надо Вамъ сказать, что въ этотъ день мерзавцы-нѣмцы бомбардировали городъ изъ орудій 380 м. Въ центрѣ города упало 11 снарядовъ. Нѣсколько домовъ было разрушено. Въ отвѣтъ французы, выслали въ Мецъ 40 аппаратовъ, бросившихъ на казармы и вокзалы 160 снарядовъ. Объ этомъ Вы знаете изъ газетъ. Знаете также и о воздушной бомбардировкѣ города нѣмцами на другой день. Я видѣлъ ихъ, но было поздно и я не могъ подняться. Я готовъ былъ плакать со зла въ этотъ день я былъ на караулѣ и былъ слишкомъ поздно предупрежденъ о ихъ приближеніи.

О второмъ моемъ полетѣ нечего разсказывать. Тоже и съ третьимъ. Это было въ день рожденія Кайзера. Нѣмцы грозились снова бомбардировать городъ и вотъ мы въ этотъ день, несмотря на неблагопріятную погоду, носились по вѣтру. Я былъ покрытъ снѣгомъ. Летать приходилось въ тучахъ. Холодъ, вѣтеръ, а мы... Брр...

Ну, вотъ вамъ и мои первыя впечатлѣнія.

31 января 1916 г.

Два трудныхъ дня. Вчера къ вечеру нѣсколько прояснилось. Съ фронта доносился гулъ серьезной артиллерійской пальбы.

„Федоровъ, одѣвайтесь! Въ караулъ!"

Одѣваю свои мѣха. Беру механика пулеметчика и въ воздухъ. Черезъ десять минутъ надъ тучами. Бѣлое безбрежное море! Думаю о Россіи, о ея безбрежныхъ бѣлыхъ поляхъ. Солнце ярко горитъ и переливается въ тучахъ всѣми цвѣтами радуги. До чего же это красиво! Ни словъ, ни красокъ!

Холодъ, чѣмъ выше, тѣмъ жесточе. Пробирается во всѣ щелочки, щиплетъ носъ, щеки, руки, ноги. Мой механикъ хлопаетъ перчатками, вертится, стучитъ ногами. Замерзъ.

Я — на высотѣ четырехъ тысячъ метровъ. Земля видна только черезъ широкія дыры въ тучахъ. Беру направленіе по солнцу и компасу. Летаю взадъ и впередъ вдоль линіи нашихъ и непріятельскихъ. Моя задача не пропустить ни одного нѣмецкаго аппарата въ этомъ участкѣ на нашу сторону. Вдругъ механикъ показываетъ пальцемъ впередъ. Вижу множество взрывовъ, мчусь туда, думая, что непріятельскій аппаратъ залетѣлъ къ намъ и наша артиллерія его обстрѣливаетъ. Аппарата не вижу, но взрывы ясно видны. Ближе различаю внизу артиллерійскій бой. Снаряды рвутся внизу, но бѣлыя облачки, поднимаясь, обманываютъ зрѣніе. Холодъ становится нестерпимымъ. Я уже полтора часа въ воздухѣ. Взглядываю на механика. Лицо страдальческое, на глазахъ слезы, показываетъ замерзшія руки. Черезъ четверть часа спускаюсь. Тучи, тучи и тучи. Солнце, какъ-то вмигъ исчезло и я едва вижу землю. Я уже на 1.500 метровъ. Вотъ знакомыя мѣста... Нѣтъ!.. Никогда невиданный лѣсъ. Незнакомая рѣка, желѣзная дорога... Летаю съ полчаса наугадъ. Сумерки сгустились. Вижу, наконецъ, большое поле. Но гдѣ я? Во Франціи?.. спускаюсь ниже, замедляю моторы, смотрю по сторонамъ. Вижу французскихъ солдатъ. Слава Богу!..

Гдѣ я?.. Оказывается рядомъ съ нашимъ аэродромомъ. Лечу снова. Снова теряюсь. Механикъ безпокоится. Вдругъ вижу внизу море огня. У насъ догадались, что я заблудился и, выливъ бензинъ на землю, зажгли. Благополучно спустился, пробывъ въ воздухѣ 3 часа.

Какъ же я усталъ въ этотъ вечеръ!

Сегодня утромъ чудесная погода.

— „Федоровъ, въ караулъ!.. Возьмите съ собой печь (есть такія печи, что съ собой можно взять). Чтобы и механикъ взялъ съ собой другую“.

Черезъ 10 минутъ въ воздухѣ. Не прошло и полчаса, какъ небо вдругъ покрылось тучами. Солнце надо мной. Тучи внизу. Земля исчезаетъ. Надо возвращаться. Я поворачиваю. Спускаюсь быстро, спирально. Вотъ я уже на 300 метровъ отъ земли, надъ лѣсомъ. Вдругъ бумъ, бумъ!.. Съ мотора срывается капо, разбиваетъ оба пропеллера и мой аппаратъ камнемъ въ лѣсъ. Едва, уже надъ самымъ лѣсомъ удалось поймать аппаратъ, кое-какъ съ однимъ моторомъ добрался до первой просѣки, гдѣ и спустился благополучно, чуть-чуть поранивъ палецъ. Могло очень плохо кончится.

Получилъ сегодня Ваше письмо. Пишите же почаще. Мнѣ пока не хочется на себя оглядываться. Живу внѣшностью. Очень много работаю надъ разными авіаціонными вопросами. О Парижѣ не думаю. Поѣздка моя внезапно отмѣняется. Получаю новый аппаратъ здѣсь...

ПИСЬМА ВАСИЛІЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА КРЕСТОВСКАГО.

1-го ноября 1914-го года.

Сижу опять въ траншеѣ и пишу тебѣ эту писульку. Съ траншеями у насъ дѣло обстоитъ такъ: 6 дней и ночей мы проводимъ въ одной траншеѣ справа отъ деревушки Краонелль, потомъ отдыхаемъ 3 дня въ деревнѣ Кюри и возвращаемся снова въ траншеи, но уже слѣва отъ Краонелли. Такъ мы чередуемся. Этотъ разъ мы находимся слѣва, на высокой возвышенности, открывающей намъ совершенно неописуемый видъ. Кругомъ видно на десятки верстъ. Такой ширины и простора я, послѣ Россіи, нигдѣ не видѣлъ. Весь фронтъ нѣмецкихъ траншей передъ глазами. Городъ Краонъ, занятый нѣмцами, виденъ весь со своими колокольнями, домами и фабриками, какъ на ладони. Отъ насъ онъ не дальше, какъ въ полутора километрахъ. За Краономъ въ нѣкоторомъ отдаленіи часто видны дымки поѣздовъ нѣмецкихъ. Они бѣгутъ одинъ за другимъ, подвозя нѣмцамъ боевые припасы. Вчера дымки поѣздовъ мелькали особенно часто и сегодня насъ съ совершенно исключительной щедростью нѣмцы осыпаютъ марминками и шрапнелью. Пока я пишу тебѣ это письмо, они рвутся невдалекѣ отъ насъ. Вотъ сейчасъ одна разорвалась надъ самой нашей траншеей и осыпала это письмо землей съ нашей крыши. Странно тебѣ это? Я къ нимъ привыкъ настолько, что лѣнь бываетъ даже посмотрѣть, гдѣ они рвутся. До сихъ поръ мы только слышали отдаленные выстрѣлы — теперь мы ихъ видимъ. Гдѣ-то далеко въ лѣсу передъ нами мелькаетъ огонь. Секунда, другая... Слышенъ визгъ. Трахъ... Крыша траншеи содрогается. На головы сыплется земля. Та траншея, которую мы занимали на прошлой недѣлѣ, теперь внизу передъ нами и хорошо видна. Вчера ее усиленно обстрѣливали нѣмцы, и намъ было видно, какъ рвались марминки около нея. Направо на самомъ горизонтѣ видна маленькая возвышенность и надъ ней шпиль. Это Реймсъ со своимъ Каѳедраломъ. Вѣдь Реймсъ находится всего въ 25-ти — 30-ти километрахъ отъ насъ. А прямо передъ нами опять на мѣстѣ, гдѣ мелькаютъ непрерывные группы французскихъ солдатъ.

А у подошвы холма, занятаго нашей траншеей, въ ...

метрахъ отъ насъ ужасные погреба деревни Краоне иль биткомъ набиты трупами.

Сегодня утромъ я видѣлъ замѣчательнѣйшее зрѣлище, которое едва ли увижу еще когда либо въ жизни. Раннимъ утромъ я стоялъ на часахъ, дулъ холодный вѣтеръ и гналъ по небу низкія тучи. Неожиданно вѣтеръ затихъ. Время было свѣтать, но небо оставалось все такъ же темно. На востокѣ тучи сплотились густой завѣсой. Вотъ ужъ полъ часа, какъ солнце должно было взойти но небо оставалось все такъ же темно. Вдругъ краешекъ завѣсы приподнялся и узкая кровавая стрѣлка прорѣзала горизонтъ. Завѣса медленно поднимается выше и стрѣлка ширится, медленно растетъ въ цѣлое озеро крови. Озеро узко и длинно, какъ мечъ и свѣтится кралымъ блескомъ, края его красны и жгучи. Завѣса такъ плотна, что толщи ея не можетъ пронизать ни одинъ лучъ, и черный край ея рѣзко очерчиваетъ горящее озеро. На желтомъ фонѣ медленно проступаютъ багрово красныя пятна, они чернѣютъ, запекаются кровавыми сгустками, пятнаютъ озеро, и долго держатся одно около другого темными страшными язвами. Такимъ должно было встать солнце въ день, когда распяли Христа.

Вотъ я попытался описать тебѣ его и описаніе вышло очень и очень плохое. Но все таки, быть можетъ, оно дастъ тебѣ, если не картину, то настроеніе, которое я испытывалъ глядя на него. Мнѣ было немножко стыдно пуститься въ это литературное описаніе, но впечатлѣніе было такъ сильно, и такъ исключительно, что я непремѣнно рѣшилъ имъ съ тобой подѣлиться. Во всякомъ случаѣ, болѣе мистической симфоніи въ краскахъ я никогда не видывалъ, да и трудно себѣ представить. И теперь ты можешь понять, съ какой досадой я выругался, когда спѣша отдѣлать акварель съ этого восхода, я убѣдился, что ни въ одномъ изъ нашихъ бидоновъ воды не было. Это самое большое наше несчастье. Мы прямо помираемъ отъ жажды. Воды нигдѣ по близости нѣтъ, а наше корвэ можетъ приносить только заразъ два, три бидона, такъ они нагружены бываютъ хлѣбомъ и пищей. Я пока, какъ шарманка, на похоронахъ. Нѣтъ мнѣ никакого примѣненія. Поэтому мною затыкаютъ дыры. На прошлой недѣлѣ я дѣлалъ корвэ, носилъ въ траншеи пищу. Теперь я нахожусь въ траншеѣ вмѣсто нашего agent de liaison. (чертъ его знаетъ, какъ это дурацкое слово пишется). Вернусь съ войны, такъ чтобы ты, наконецъ, выучила меня французскому языку. Дѣло въ томъ, что мое ремесло телеметрера совершенно неприменимо, покуда мы находимся въ траншеяхъ. Тутъ измѣрять нечего: разстоянія между нашими и нѣмецкими траншеями извѣстны. Вотъ меня и употребляютъ на всяческія затычки. Въ качествѣ ордонанса я бѣгаю по нѣскольку разъ въ день съ депешами отъ нашего лейтенанта къ капитану, отъ капитана къ коменданту и т. д. Занятіе довольно пріятное, потому что бѣгая

знакомишься съ новыми мѣстами и въ движеніи великолѣпно согрѣваешься. Къ тому же на этотъ разъ я съумѣлъ устроиться такъ, что остаюсь въ траншеѣ всегда съ нашей секціей и сдѣлавъ комисіонъ, всегда возвращаюсь къ нашимъ. Это гарантируетъ меня отъ необходимости спать подъ открытымъ небомъ, и спасаетъ отъ общества офицерскихъ деньщиковъ.

Ходятъ у насъ вотъ какіе слухи и не только слухи (ибо по уставу это такъ и полагается), что еще черезъ 15 дней мы будемъ переведены въ городъ Фимъ (Послѣдняя ст. жел. дор., на которой мы высадились, когда ѣхали сюда). Тамъ мы отдохнемъ 15 дней и тогда двинемся куда нибудь въ другое мѣсто, говорятъ, на сѣверъ. Я этому очень радуюсь. Во первыхъ и отдыхъ 15 дней будетъ очень кстати, а во вторыхъ убраться изъ этого скучнаго и однообразнаго мѣста, гдѣ кромѣ пушечной и ружейной пальбы ничего не слышишь, будетъ во истину наслажденіемъ...

5-го ноября 1914 года.

Пишу тебѣ, сидя въ траншеѣ. Низенькій потолокъ, въ который я, сидя, упираюсь головой. Съ потолка, или, вѣрнѣе, съ крыши, сдѣланной изъ вѣтвей, висятъ всякіе мохры и щекочатъ мнѣ сейчасъ носъ и шею.

По потолку бѣгаютъ, шмыгая межъ вѣтвей, полевыя мыши и крысы, коихъ здѣсь многое множество.

Уже три дня какъ мы въ траншеѣ.

Шрапнель почти каждый день осыпаетъ нашу крышу свинцовымъ дождемъ. Иногда подходятъ нѣмцы, и тогда мы встрѣчаемъ ихъ выстрѣлами. Въ одну прекрасную лунную ночь, я былъ разбуженъ страшной фюзильадой. Вскочилъ, вылѣзъ изъ траншеи, бросился къ люкарнѣ.

Впереди мелькаютъ какія то тѣни, надъ головой свистятъ пули. Немедленно наши митральезы были пущены въ ходъ, и черезъ минуту стрѣльба прекратилась. Они ушли обратно въ траншеи.

Это единственная „баталія,“ въ которой участвовали до сихъ поръ пулеметы нашего отряда. Обыкновенно же мы ведемъ лѣнивую перестрѣлку, которая иногда оживляется, но потомъ замираетъ снова. Ежедневно получаемъ отъ нѣмцевъ нѣсколько шрапнелей, которыя ломаютъ рядомъ съ нами деревья, но не причиняютъ намъ вреда.

Живемъ довольно грязно, изрѣдка умываясь въ сосѣднемъ ручейкѣ, когда есть надежда не быть подстрѣленнымъ. Закаляюсь я каждодневно и ежечасно. Холодныя ночи меня совсѣмъ не пугаютъ, не смотря на то, что мы спимъ на мокрой землѣ и часто подъ дождемъ. Единственно отъ чего мы всѣ очень

страдаемъ — это полное отсутствіе спичекъ, для курильщиковъ равносильное отсутствію хлѣба.

Не знаю доходятъ ли и тѣ письма, которыя я пишу тебѣ. Во снѣ я часто вижу, будто бы я въ Парижѣ, у насъ дома сижу съ тобой. На столѣ горитъ лампа, а рядомъ спитъ нашъ маленькій мальчикъ. Мы сидимъ, пьемъ чай, (за который, кстати сказать, я сейчасъ дорого бы далъ) и тихо болтаемъ. Такой сонъ меня всегда умиляетъ, и мнѣ дѣлается тепло и радостно.

10-го ноября 1914 года.

Позавчера ночью мы вернулись изъ траншей, гдѣ пробыли безъ отдыха шесть дней. Въ теченіе всего этого времени каждую ночь и каждый день я, чередуясь съ двумя другими солдатами нашей секціи, стоялъ на часахъ. Почти все время, что я не стоялъ на часахъ, старался заснуть. Иногда удавалось, иногда нѣтъ...

Тяжела наша жизнь, но за трудомъ и усталостью не успѣваешь думать.

Звѣздочка моя яркая горитъ надо мной. И, несмотря на то, что въ продолженіе нѣсколькихъ дней шрапнель рвалась и сыпалась надъ нами безъ перерыва, несмотря на то, что во время перестрѣлокъ я все время оставался какъ телеметреръ въ окнѣ, я не раненъ, не убитъ.

Завтра пойдемъ опять въ траншеи. Я, должно быть, на однѣ сутки, чтобы взять дистанцію, а потомъ вернусь опять въ сатретенъ. Во мнѣ сейчасъ пока мы находимся въ траншеяхъ, нѣтъ нужды. Это будетъ кстати, потому что послѣдніе три дня я чувствую себя совершенно больнымъ.

Траншеи наши стояли въ болотѣ, и я, очевидно, схватилъ лихорадку: вечерами жаръ, ломитъ все тѣло и большая усталость; временемъ, пока товарищи будутъ находиться въ траншеяхъ, я воспользуюсь, чтобы отдохнуть и поправиться.

Ты спрашиваешь, какое впечатлѣніе производитъ на меня война? Пока что очень небогатое. Впечатлѣніе тоски, скуки и невѣроятнаго однообразія. Дѣло въ томъ, что на фронтѣ, который мы занимаемъ, ни мы, ни нѣмцы не имѣемъ намѣренія прогрессировать. Вся задача сводится къ защитѣ тѣхъ позицій, которыя мы занимаемъ. Нѣмцы изрѣдка ведутъ фиктивныя атаки, останавливаются отъ нашей линіи траншей въ разстояніи 1000 метровъ и открываютъ лѣнивый огонь. Этимъ они, зная французскую невыдержанность, провоцируютъ насъ на бѣшеную стрѣльбу, которая на опытный глазъ, конечно, великолѣпно обнаружила бы нашу численность. Въ остальномъ война сводится къ пушечной дуэли и къ взаимному обстрѣлу траншей артил-

лерійскимъ огнемъ. Нѣсколько дней подрядъ наши траншеи были исключительнымъ объектомъ шрапнельной стрѣльбы. Въ результатѣ, рядомъ съ нами въ траншеяхъ 5 человѣкъ ранено и одинъ умеръ отъ ранъ. Въ нашей же секціи никто не пострадалъ. Личныя же мои ощущенія — это полное отсутствіе страха и только вполнѣ сознательная и разсчитанная самозащита. Мое тѣло напрягается и мозгъ проясняется во время опасности, и я знаю, что, покуда это въ моей власти, я, не прячась и не труся, сумѣю сберечь себя отъ ранъ и смерти. А если и ранятъ смертельно, мой сильный организмъ будетъ бороться до послѣдняго предѣла. Я это также знаю, а потому спокоенъ. Я бодръ, очень бодръ духомъ, даже тогда, когда тѣло падаетъ отъ усталости. И чѣмъ тяжелѣе мнѣ, тѣмъ болѣе, гдѣ-то въ глубинѣ, радуется духъ мой.

Х... былъ нѣкоторое время въ нашей секціи, а потомъ выбылъ. Теперь онъ опять въ compagnie въ своей секціи и очень этимъ доволенъ. Я ему чрезвычайно завидую. Работа ихъ въ настоящій моментъ гораздо интереснѣе и живѣе нашей. Митральезы въ траншеѣ во время защитной политики совершенно бездѣйствуютъ. Мы должны спокойно сидѣть и ждать, пока нѣмцы не подойдутъ къ намъ метровъ на 50. Тогда мы открываемъ стрѣльбу. Всѣ шесть дней, что мы были въ траншеяхъ, мы ничего не видѣли, кромѣ нашихъ митральезъ и довольно скучнаго пейзажа. Х... же со своей секціей былъ на развѣдкахъ и видѣлъ много интереснаго. Сегодня идемъ въ новое мѣсто. Быть можетъ тамъ будетъ живѣе.

Слѣва отъ насъ помѣстилась одна деревушка. Въ ней не слышно было ни крика пѣтушинаго, ни лая собачьяго. Говорятъ, что погреба этой деревни завалены трупами нѣмцевъ и французовъ, а на дверяхъ погребовъ крестъ начертанъ и надпись имѣется: столько-то труповъ,— 10, 15, 20.

Страшный и смрадный духъ надъ деревней носится. Ужасная сказка. Только не сказка это, а быль, и разсказалъ ее мнѣ нашъ циклистъ, который теперь къ нашему commandant прикомандированъ. Съ нимъ онъ обходилъ траншеи и зашелъ въ эту деревню. Commandant ужаснулся, увидавъ страшныя надписи, и подалъ рапортъ полковнику съ просьбой разрѣшить предать тѣла погребенію.

13-го ноября 914 года.

Мы снова въ траншеѣ. Только теперь значительно передвинулись влѣво. Наши позиціи расположены на высокомъ холмѣ, съ котораго въ сторону противоположную нѣмецкимъ траншеямъ открывается поистинѣ чудесный видъ: глубокая и широкая долина, усѣянная мѣстами сосновымъ лѣсомъ, внизу рѣка надъ рѣкой.

ки теряются среди холмовъ. Во время захода солнца долина эта представляетъ собой замѣчательное зрѣлище. Къ сожалѣнію, любоваться этими красотами нѣтъ никакой возможности. Стоитъ высунуть голову изъ траншеи, или показать носъ въ окно для митральезы, какъ нѣсколько пуль зажужжитъ надъ головой и ударятся въ деревянную перекладину нашей траншеи. Позиціи нѣмцевъ здѣсь значительно приближены, первая линія траншей находится въ разстояніи 400 метровъ. Часто видимъ, какъ надъ вершиной нѣмецкой траншеи высовывается на мгновеніе голова „боша." Немедленно съ нашей стороны летитъ въ нее нѣсколько пуль. Это единственное развлеченіе въ траншеѣ, и имъ, конечно, пользуются во всю.

Сзади нашихъ траншей, въ томъ мѣстѣ, гдѣ занятый нами холмъ начинаетъ спускаться въ долину, расположенъ небольшой лѣсокъ. Всѣ деревья этого лѣска поломаны, разбиты и срѣзаны наполовину нѣмецкими снарядами. На землѣ повсюду валяются развороченные шрапнельные снаряды и осколки огромныхъ обюсовъ отъ grosses pièces. Сзади траншей, по всему склону холма, валяются ранцы убитыхъ, брошенныя поломанныя и цѣлыя ружья французовъ и нѣмцевъ.

Ночи стоятъ уже очень холодныя. Лѣзешь подъ свое куцое одѣяльце съ головою; колѣни поджимаешь къ подбородку и такъ спишь...

Прошлую ночь я провелъ ужасную. Agent de liaison нашъ заболѣлъ, и мнѣ поручили исполнять его обязанности. Мы только что пришли въ траншеи и кое-какъ расположились въ темнотѣ.

Съ самаго полудня дулъ холодный и мокрый сѣверный вѣтеръ. Мы всѣ продрогли и тряслись подъ своими одѣялами. Лихорадка, то согрѣвала меня до пота, то заставляла дрожать. Только я началъ дремать, къ намъ въ траншею влѣзаетъ сержантъ расположенной по сосѣдству съ нами compagnie, и зоветъ меня къ своему капитану. Выхожу изъ траншеи. На дворѣ буря. Вѣтеръ хлещетъ дождемъ въ лицо, пронизываетъ одежду и обдаетъ тѣло холоднымъ дыханіемъ. Прихожу къ капитану, онъ вручаетъ мнѣ рапортъ съ приказаніемъ отнести его къ commandant. Выхожу снова на вѣтеръ и быстро иду, стараясь топотомъ согрѣть окоченѣвшія ноги. Ходьба разогрѣваетъ меня. По дорогѣ нѣсколько разъ падаю въ ямы отъ снарядовъ полныя грязи, но это только веселитъ меня. Спрашиваю встрѣчнаго часового, далеко ли до commandant. Близко. Пройти лѣсокъ, потомъ направо; увижу рядъ кабаночъ, тамъ часовой укажетъ. Я радуюсь: Какъ это хорошо! Сейчасъ вернусь, ходьба разогрѣла меня... Залѣзу подъ свое одѣяло... Это ничего, что я промокъ: надѣну свой passe-montagne (вязанная кольчуга на голову), перчатки, укутаюсь хорошенько и немножко высплюсь. Прихожу къ commandant, передаю его деньщику рапортъ и жду отвѣта. Возвра-

щается денщикъ и объявляетъ, что я остаюсь въ распоряженіе commandant. Мнѣ ничего не остается, какъ искать гдѣ нибудь по близости прикрытія отъ дождя. Темнота царитъ абсолютная. Въ двухъ шагахъ не видно. Ощупью пробираюсь впередъ, натыкаюсь на какое то строеніе изъ вѣтвей. Узнаю, что тамъ сидятъ всѣ hommes de liaison, но что мѣста больше совершенно нѣтъ. Направляюсь подъ первое дерево и тамъ ложусь. Подо мной мокро, надо мной тоже мокро. Сворачиваюсь калачемъ и такъ лежу до самаго утра.

Къ утру дождь пересталъ и вѣтеръ утихъ. Commandant призвалъ меня, вручилъ депешу для капитана и отослалъ обратно въ траншею. Удивительнѣе всего, что я не заболѣлъ отъ проведенной такъ ночи По вечерамъ по прежнему страдаю лихорадкой, но къ ней ничего не прибавилось. Меня теперь никогда не мучаютъ дурныя настроенія. Я всегда бодръ духомъ и всегда увѣренъ въ себѣ. Даже когда мокну цѣлую ночь подъ деревомъ.

Вся площадь земли между нами и нѣмцами усѣяна трупами, которые лежатъ уже здѣсь двѣ недѣли, а нѣкоторые и дольше. Передъ нѣмецкой траншеей есть рядъ проволочныхъ загражденій; передъ ними трупы лежатъ кучами, дальше трупы лежатъ рядами. Въ бинокль трупы хорошо видны. Лежатъ недвижно, уткнувшись лицомъ въ землю или на спинѣ, широко раскинувъ руки. Жалко и больно смотрѣть.

Повсюду въ лѣскѣ, сзади насъ, солдатскія могилки. Самодѣльныя, кое какъ сколоченные изъ двухъ дощечекъ крестики. На нихъ иногда вѣнокъ, сдѣланный товарищами изъ елки. Часто въ могилку воткнута палка и на ней надѣто кепи убитаго.

Трогательная и грустная могилка.

И много, много ихъ.

15-го ноября.

...Твое представленіе о фронтѣ, какъ о какой то бѣшеной скачкѣ людей, совершенно неправильно, по крайнѣй мѣрѣ, относительно той части фронта, которую мы занимаемъ. Пока отдыхаемъ, ежедневно передъ глазами проходитъ одно и то же до приторности скучное и однообразное впечатлѣніе разрывающихся снарядовъ, въ началѣ волнующее, захватывающее и новое, теперь перестало совершенно интересовать. Звуки недалекой канонады проходятъ мимо ушей такъ же незамѣченными, какъ привычный горожанинъ не замѣчаетъ шума трамваевъ.

Въ траншеяхъ еще тоскливѣе и скучнѣе. День и ночь проходятъ въ абсолютномъ бездѣліи. Надъ головой все такъ же назойливо, нудно и однообразно время отъ времени жужжатъ и взвизгиваютъ нѣмецкія пули. Шесть дней проходятъ въ убійст-

венной тоскѣ и скукѣ. Мучительно ждемъ дня, когда прійдетъ смѣна, которая на два дня внесетъ маленькое разнообразіе и отдыхъ въ нашу жизнь. Впрочемъ, и смѣнившись, мы все такъ же, какъ и прежде возвращаемся въ деревню, въ которой были недѣлю назадъ, и все такъ же, какъ и прежде будутъ мелькать передъ нами знакомыя лица нашего батальона. Господи, какъ бы мнѣ хотѣлось перемѣнить мѣсто. Какъ хорошо было бы, если бы насъ перевели на сѣверъ. Я прямо трепещу при мысли, что меня могутъ здѣсь ранить. Вернуться въ Парижъ, ничего не видѣвъ, ничего не сдѣлавъ, и это послѣ всѣхъ вынесенныхъ предварительно лишеній, послѣ всѣхъ принесенныхъ жертвъ. Пока мы еще не были на самомъ фронтѣ, мы видѣли кое что. Тамъ сзади насъ, километрахъ въ 15, идетъ горячая суета. Тамъ, ночью, одинъ за другимъ, направляясь къ городу, въ которомъ все еще высится и темнымъ силуэтомъ рѣжетъ ночное небо старый соборъ, мчатся темныя чудовища-веикюли, биткомъ набитые солдатами всѣхъ частей. Они гудятъ придушеннымъ опасливымъ гуломъ, и встрѣчныя усталыя части, забрызганныя грязью прикопченныя дымомъ, жмутся къ сторонамъ дороги и ждутъ, когда скроются темныя чудовища, увозящія ихъ товарищей туда, откуда они только что вышли. Это я видѣлъ, когда подходилъ къ тому мѣсту, гдѣ скучаю теперь. Надѣюсь, что когдѣ-нибудь, быть можетъ, скоро и нами зарядятъ такія же чудовища и повезутъ туда, гдѣ многіе изъ насъ оставятъ жизнь свою, а другіе вернутся со славою —вѣрю въ это, и потому твердъ и бодръ духомъ...

Сегодня у меня была радость великая. Получилъ двѣ вещи жданныя, желанныя,—во первыхъ, письма, во вторыхъ, посылочку. Находясь въ траншеяхъ, мы никакого общенія съ баталіономъ не имѣемъ. Твоя невѣрная надпись сбила съ толку вахмистра и онъ послалъ все въ траншеи. Теперь же все вернулось ко мнѣ. Ты и представить себѣ не можешь, сколько радости всѣмъ доставила своей посылкой. Я угостилъ послѣ обѣда всю нашу секцію папиросами. Всѣ сидѣли и съ наслажденіемъ курили. Посылка пришла цѣлой и невредимой, но немножко помятой и промокшей....

18-го ноября.

Вчера цѣлый день не могъ урваться написать тебѣ. Я чистилъ картошку, рубилъ дрова, носилъ воду и пр. Сегодня утромъ объявилъ сержанту, что до 12 час. ни за какую corvée не берусь, и вотъ видишь, въ результатѣ пишу тебѣ письмо. Завтра вечеромъ опять идемъ въ траншеи, и опять, должно быть, передвинемся вправо или влѣво по фронту. Это меня радуетъ; все же новыя мѣста увидимъ. Здѣсь ждутъ въ самомъ скоромъ

времени серьезныхъ событій. Можетъ быть они разсѣютъ нашу скуку. Какое счастье будетъ...

Въ нашей деревушкѣ, предназначенной для отдыха, жизнь течетъ по прежнему ровно и точно — изо дня въ день. Самая пріятная для меня корвэ — это отправляться съ однимъ муломъ и съ двумя помощниками въ сосѣдній березовый лѣсокъ. Тамъ я выбираю стройную, красивую березку и, съ болью сердечной, спиливаю ее у самаго корня. Березка вся стонетъ и трепещетъ и наконецъ съ жалобнымъ скрипомъ падаетъ.

Мы распиливаемъ березку на 4 части, грузимъ ею мула и идемъ обратно. Напиливъ вчера дровъ, я погрузилъ ими мула и отправилъ съ ними своихъ помощниковъ, самъ же остался въ лѣсу.

Ты и вообразить себѣ не можешь, какъ я отдохнулъ въ немъ душой. Часъ былъ вечерній, солнце заходило въ багряныя тучи.

Тучи уже морозныя, дали свѣжимъ туманомъ окутанныя.
Красота великая въ природѣ творится!

Я сидѣлъ на пенькѣ и, задумавшись, наслаждался одиночествомъ въ миломъ обществѣ березокъ. Вдругъ до ушей моихъ донеслось жужжаніе огромнаго жука. На закатномъ небѣ постепенно вырисовывался нѣмецкій аэропланъ. Такъ глупъ и ненуженъ былъ онъ въ этой природѣ!

Мягкими кругами онъ рѣзалъ небо, иногда какъ бы застывая на мѣстѣ.

Что то выглядывалъ, во что то зорко всматривался. Неожиданно въ сторонѣ отъ него появляется густое, упругое облачко. Проходитъ секунда, слышится ракетный свистъ, сухой трескъ и облачко, развертываясь чернымъ прозрачнымъ букетомъ, медленно исчезаетъ въ небѣ. Вотъ совсѣмъ рядомъ съ огромной птицей появилось другое, такое же маленькое и крѣпкое. Вотъ еще.. еще... Аэропланъ кренится на бокъ, быстро выпрямляется и уносится спиралью высоко въ небо.

Это французскія батареи стрѣляютъ въ него шрапнелью. Такую своеобразную охоту мы наблюдаемъ часто и всегда съ интересомъ. Но вчера онъ меня раздосадовалъ, выведя изъ моего тихаго созерцанія. Впрочемъ, досадовалъ я на себя: мое созерцаніе было совсѣмъ неумѣстнымъ...

19-го ноября

Сегодня ночью опять идемъ въ траншеи. Холода стоятъ уже сугубые, но гораздо болѣе пріятные и бодрящіе, нежели та слякоть, которую мы выносили до сихъ поръ. Сегодня утромъ я проснулся въ нашей комнатѣ раненько. Нашъ поваръ уже огонь развелъ, мелетъ кофе. Темно еще... Заря чуть занимается

Люблю я ранній утренній часъ зимой.

Огонь въ комнатѣ какого-то особеннаго уюта полонъ.

Вышелъ на дворъ—изморозь. Вся земля скрипучимъ инеемъ покрыта. Вернулся въ комнату, глядь на окнахъ сосульки ледяныя намерзли. Совсѣмъ, какъ въ Россіи. Подсѣлъ къ огню, ноги грѣю, и такъ хорошо, покойно на душѣ. Воистину благъ и умиротворителенъ часъ утренній.

Рождество, навѣрно, въ траншеѣ встрѣчать будемъ. Можетъ быть, не здѣсь въ другомъ мѣстѣ, но только на войнѣ. Къ Рождеству едва ли война кончится...

8-го декабря 1914-го года.

Вотъ я снова въ траншеѣ, только не въ той откуда открывается чудесная понарама, а внизу, въ старой нашей траншеѣ, которую я описывалъ тебѣ уже давно. Теперь здѣсь для насъ саперами выстроена „гапуа“, родъ низкаго шалаша, и что всего увлекательнѣй, въ немъ поставлена печка. Волею судебъ и моихъ товарищей, я занимаю мѣсто у самой печки. Сегодня мы пришли сюда въ 5 час. утра. Было совсѣмъ темно. Я разжегъ печку, вынулъ изъ футляра вѣтку мимозы и прикрѣпилъ ее въ своемъ изголовьи, она снова будетъ осѣнять мой сонъ. Если успѣю сегодня, срисую interieur нашей каньи и пришлю тебѣ этимъ же письмомъ. Теперь разскажу тебѣ событія послѣднихъ дней. 4-го Декабря мы вернулись изъ траншей и остановились, какъ обыкновенно, въ деревушкѣ Кюри на отдыхѣ. В., который всѣ 6 дней оставался тамъ, приготовилъ мнѣ мѣсто на чердакѣ сѣновала, такъ что я пришелъ, можно сказать, на готовую квартиру. День прошелъ спокойно въ мелкихъ хлопотахъ, чисткѣ и т.п. Вечеромъ часовъ около 6-ти раздался характерный, сверлящій и быстро приближающійся свистъ, и невдалекѣ отъ нашего утлаго grenier, крытаго черепицей, разорвался снарядъ. Черезъ 20 минутъ разорвался другой. ранившій часового, потомъ еще нѣсколько, и канонада замолкла.

На слѣдующій день вечеромъ обстрѣлъ возобновился и на этотъ разъ имѣлъ ужасныя послѣдствія. Какъ и наканунѣ слышался приближающійся свистъ и грохотъ разрывающейся шрапнели. Черепичатую крышу нашу не разъ осыпало дождемъ картечи. Но къ этому большинство изъ насъ уже привыкло и не обращало особеннаго вниманія. Вдругъ, надъ самой моей головой, быть можетъ метрахъ въ трехъ — четырехъ отъ нея, послышался скрежещущій и страшный шорохъ, который издаетъ только летящая „мармитка“ (такъ называютъ солдаты бризантные, самые ужасные снаряды). Мгновеніе... и метрахъ въ 30-ти вправо отъ насъ — звукъ страшнаго взрыва. Какъ былинка колышется нашъ grenier, а въ воздухѣ еще слышенъ свистъ па-

дающихъ осколковъ. Нѣсколько человѣкъ изъ насъ спускаются внизъ, чтобы узнать, что случилось. Видятъ: спѣшащіе люди запыхавшись несутъ носилки, а въ нихъ что-то скорченное и тихо стонущее. Спрашиваютъ. На сосѣдней фермѣ въ ***, гдѣ стояли артиллеристы, разорвалась мармитка, въ моментъ, когда люди спали. Результаты страшные: 9 человѣкъ ранено, трое убито, одинъ изъ 9-ти раненъ настолько серьезно, что его можно почитать мертвымъ. Внизу подъ сѣноваломъ въ конюшнѣ тѣмъ же снарядомъ убито двѣ лошади. Люди поднимаются къ намъ на сѣновалъ и взволнованнымъ голосомъ сообщаютъ эту новость. Освобождаю голову изъ подъ одѣяла и слушаю: „Да, ужасно, ужасно, и особенно ужасаетъ эта глупая безсмысленная обстановка смерти. Ну, что жъ дѣлать Я такъ усталъ. Закутываю голову. „Тише товарищи. Дайте спать, завтра рано вставать." Тишина... Засыпаемъ... А врагъ гдѣ-то бдитъ и время отъ времени посылаетъ огневые снаряды, которые, Богъ знаетъ почему, рвутся гдѣ-то въ сторонѣ, минуя нашу хрупкую черепичатую крышу...

На утро, съ грустнымъ чувствомъ, иду посмотрѣть на сосѣднюю ферму. Съ улицы вижу въ крышѣ зіяющую, оскалившуюся черепицами страшную дыру. Подхожу ближе съ другой стороны дома такая же дыра и тѣ же поломанные зубы черепицъ. Внизу въ конюшнѣ лежатъ два лошадиныхъ трупа. Одинъ съ кровавой раздробленной головой, другой съ распоротымъ брюхомъ и выползшими изъ него червями внутренностями. Тошнотное зрѣлище... Отворачиваюсь и иду домой. День проходитъ спокойно. А вечеромъ тотъ же свистъ, то же близящееся шипѣніе, и тѣ же близкіе или далекіе, упруго рвущіеся звуки. На слѣдующій день иду на похороны. У воротъ фермы столпились артиллеристы. Сняли шапки, ждутъ. Лица у большинства спокойныя, серьезныя и грустныя. Нѣкоторые, съ напряженіемъ вытянувъ шею, упорно смотрятъ въ ворота и на лицѣ ихъ значится неопредѣленный, мечущійся испугъ... Вотъ во дворѣ послышалось характерное, быстрое чтеніе католическаго патера. Необнаженныя еще головы обнажаются. Въ воротахъ появляется солдатъ: онъ низко опустилъ голову, въ рукахъ его распятіе. За нимъ священникъ съ значкомъ краснаго креста на рукавѣ. Онъ привычнымъ голосомъ на распѣвъ читаетъ молитву, два солдата съ кадиломъ и водой подпѣваютъ ему. Вотъ первый гробъ несутъ 4 солдата, тѣсно прижавшись другъ къ другу плечемъ. Гробъ самодѣльный изъ грубыхъ досокъ, сколоченныхъ неумѣлой рукой. За нимъ другой. Потомъ третій. По бокамъ шеренги солдатъ съ опущенными ружьями, дуломъ къ землѣ. Кортежъ проходитъ, толпа двигается вслѣдъ, я тоже примыкаю. Всѣ заходятъ въ маленькую деревенскую церковку. Я остаюсь снаружи. Отхожу въ сторону. Три свѣже вырытыхъ могилы... Сырая земля и сырыя могилы... Месса кончилась. Грустное тяжелое пѣніе;

въ сторонѣ стоитъ артиллерійскій сержантъ и навзрыдъ плачетъ. Гробы ставятъ каждый около своей могилы. Священникъ читаетъ „отпустъ“. Наступаетъ моментъ прощанія. Выходитъ старый капитанъ, на глазахъ его слезы

„Любилъ я васъ простою солдатскою любовью, но вотъ Вы погибли, теперь наше дѣло отмѣтить васъ“ Крѣпившіеся солдаты не выдерживаютъ. Вотъ одинъ молодой и безусый бросилъ лопату и опустился на колѣни, закрылъ лицо руками и навзрыдъ рыдаетъ. Плачутъ всѣ. Плачетъ старый canonier, опуская сильной рукой въ могилу гробъ на веревкѣ, плачетъ священникъ, плачетъ древняя старушка, забытая въ деревнѣ, которая тоже пришла посмотрѣть, какъ хоронятъ солдатиковъ. Гробъ опущенъ .. Бросаю на крышку гроба комъ земли, съ глухимъ стукомъ онъ разсыпается. Возвращаюсь къ себѣ на чердакъ... Немножко грустно, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ то свѣтло и радостно: крѣпка и сильна товарищеская любовь, и такіе всѣ они простые и добрые малые, но ужъ конечно нѣмцамъ они отомстятъ Вотъ и сейчасъ я вижу, какъ вулканами взлетаютъ на воздухъ верхи нѣмецкихъ траншей. Сейчасъ я уже ушелъ отъ печки, сижу у митральезы и смотрю въ „дыру“ (я на часахъ). Но вотъ и послѣдній актъ этой маленькой драмы: вчера вечеромъ рѣшено было взорвать колокольню нашей маленькой церковки чтобы лишить нѣмцевъ прицѣла. Часовъ въ 9 вечера намъ велѣли всѣмъ войти въ помѣщенія во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ. Я остался на дворѣ: очень хотѣлось мнѣ видѣть трагическій конецъ маленькой колоколенки. Было совсѣмъ темно Минуты тянулись длинныя и тягучія. Но вотъ остроконечный куполъ вздрогнулъ, покачнулся и вдругъ съ бѣшеной силой взлетѣлъ на воздухъ, слѣдомъ за нимъ съ страшнымъ грохотомъ вырвался цѣлый вулканъ камней, пламени, бревенъ и пыли все это съ минуту падало съ страннымъ шипящимъ шумомъ. Минута... Дымъ разсѣялся, пыль улеглась и странно непривычно для глаза — на мѣстѣ старой колоколенки — голое пятно ночного неба...

Вотъ и вся эпопея, Лика. Неправда ли на романъ похоже? Такая во всемъ этомъ законченность? А сейчасъ передъ взглядомъ моимъ опять старыя яблоньки, только многія изъ нихъ уже поломаны, или наполовину расщеплены снарядомъ.

Вотъ я и опять у печки... Уже вечеръ, и мы засвѣтили свою „лампу.“

Это своеобразное учрежденіе заслуживаетъ описанія. Вообрази себѣ разбитую пополамъ бутылку. Верхняя ея часть перевернута внизъ горлышкомъ, которое тщательно укупорено; бутылка окручена проволокой, которая въ концѣ загнута крючкомъ, что позволяетъ ее подвѣшивать къ потолку. Это очень остроумное изобрѣтеніе принадлежитъ нашему капоралу голландцу Еженку. Сейчасъ онъ занятъ изобрѣтеніемъ еще лучшей лампы,

которая, повидимому, превзойдетъ все мыслимое въ этой области. Представляетъ она собой комбинацію стакана, кастрюли, воронки и банки изъ-подъ варенья...

10-го декабря 1914 года.

Погода вдругъ рѣзко перемѣнилась. Вечеръ вчера былъ теплый и мокрый. Часовъ около 9-ти подулъ съ сѣвера холодный вѣтеръ, а къ 11-ти перешелъ въ цѣлую бурю. Ночь была темная и тревожная. Знаешь, бываютъ такія ночи, когда тревога разсѣяна какъ-то во всей природѣ. Жуткія это ночи. Я стоялъ на часахъ, стараясь разсмотрѣть что-либо въ непроглядной тьмѣ. За спиной моей стоналъ и плакалъ искалѣченный снарядами лѣсъ. Вѣтеръ хлопалъ полотномъ палатки, подвѣшеннымъ у входа въ кабанку нашей митральезы, а впереди было такъ темно, что глазамъ было больно смотрѣть. И тревожно, тревожно въ такія ночи. Тревожно особенно потому, что не слышно ни выстрѣла, не видно ни деревца, смотришь въ темноту и ждешь чего-то, а чего — не вѣдаешь. Долго стоялъ я такъ, дрожа отъ холода, и въ глазахъ у меня было темно, какъ у слѣпого. Вдругъ что-то бѣлое, свѣтящееся молніей сверкнуло, скользнуло межъ деревьевъ и съ странной быстротой, вытягиваясь и рѣжа тьму, мощнымъ щупальцемъ перекинулось на самые отдаленные холмы, вырвало тамъ бѣлое пятно, застыло на немъ на минуту и, быстро сокращаясь, исчезло. Страшный палецъ: онъ что-то видѣлъ и знаетъ уже. Ночь кажется еще темнѣе. Не различаешь ни небо, ни землю — одно черное пятно. Вдругъ опять сверкнуло межъ деревьевъ. Вотъ онъ снова свѣтящійся блѣдный палецъ; теперь онъ идетъ уже прямо на насъ, онъ ищетъ и шаритъ чего-то подъ каждымъ кустомъ, въ тѣни каждаго дерева. Онъ уже близко отъ насъ. Сейчасъ подымется и кому-то на меня укажетъ. Вотъ онъ. Ой, какъ больно глазамъ, въ кабанкѣ моей свѣтло, какъ днемъ. Хватаю пустой мѣшокъ и закрываю имъ пулеметъ, чтобы блескомъ [illegible] онъ не выдалъ себя. Палецъ держитъ меня секунду подъ [illegible] своимъ и скользитъ дальше по фронту нашихъ траншей, вырѣзывая изъ тьмы ихъ блѣдныя очертанія. Вотъ онъ недобрался, [illegible] и скрылся... [illegible] кажется больше... Снова темно, какъ будетъ темно въ тотъ день, когда по слову Апокалипсиса солнце должно померкнуть...

По-прежнему смотрю въ темноту и думаю о многихъ вещахъ... [illegible] Приходитъ разводящій, смѣняетъ меня. Выхожу [illegible] Холодно. Закутываюсь съ головой въ одѣяло. Засыпаю...

Съ тоской мучительно жду, когда мы пойдемъ, наконецъ,

въ наступленіе. Такъ тяжело думать, что залетный снарядъ можетъ убить тебя или ранить, пока ты ничего не успѣлъ сдѣлать для дѣла. Вотъ и сейчасъ рвутся надъ нами и около насъ шрапнели. Странный, ни съ чѣмъ не сравнимый звукъ. Есть въ немъ что-то страшно упругое и раскаленное, пышущее огненнымъ жаромъ...

Сейчасъ влѣво отъ насъ слышна жаркая перестрѣлка и пушечная пальба. Кажется тамъ ведется одной изъ сторонъ атака. Быть-можетъ и мы будемъ сегодня имѣть дѣло...

Скомандовали по своимъ постамъ.

Четвергъ 4-го. XI. 1915 .г

Уважаемый товарищъ

Г-жа Крестовская!

Съ большимъ удовольствіемъ читалъ ваше теплое письмо. Да, вѣрно, холодно. Особливо здѣсь въ мѣстности, находящейся между горами. Дуютъ очень непріятные холодные вѣтры и часто морозитъ.

О себѣ просите вамъ написать?

Ничего путнаго не разскажешь... Мы на отдыхѣ, а это самое томительное для насъ время Все экзерсисы

Представьте себѣ 45-лѣтняго человѣка, добровольца, котораго при томъ муштруютъ все время:

„A droite par quatre, présenter armes! Rendre le salut avec chic!“ и прочія подобныя прелести, весьма необходимыя для побѣды надъ нѣмцами.

Томитъ и убиваетъ всякую охоту къ жизни. Гдѣ ужъ тутъ писать Такъ что, пожалуйста, не взыщите!

Много нужно силы душевной и вѣры въ необходимость сдѣланнаго шага, чтобы не пасть совсѣмъ духомъ. Печальной же памяти Легіонъ достаточно забросалъ грязью наши чувства и лучшія. А тутъ, если отношеніе къ намъ лично, какъ къ иностранцамъ добровольцамъ самыя лучшія, то общая обстановка солдатчины все время наводитъ на самыя грустныя мысли.

Я говорю отношеніе къ вамъ самое лучшее. Это не совсѣмъ такъ. Правда, очень уважаютъ... но... за дураковъ почитаютъ.

„Comment vous vous êtes engagé sans y être obligé?“

„Mais oui!“

Полнѣйшее недоумѣніе и отходитъ парень съ жалостью къ нашей безпримѣрной глупости

Это не анекдотъ, а сплошь да рядомъ публика такъ думаетъ. Правда, съ нами солдаты все молодые, но и старшие которые, да и непосредственное начальство того же взгляда. И я часто слышалъ: „Moi, si on me laissait tranquille, vous ne me verrez pas là “

И это совершенно вѣрно. Это не значитъ, что они плохіе

солдаты. Совсѣмъ нѣтъ. Во время четырехдневнаго ужаснаго сраженія любо было смотрѣть съ какой готовностью и рѣшительностью всѣ они шли впередъ часто на вѣрную смерть. Но каждый въ отдѣльности предпочелъ бы не быть здѣсь, не задаваясь никакими вопросами о томъ, что было бы или сталось бы съ „France."

Затѣмъ очень всѣмъ хочется, чтобы все уже кончилось, все-равно какъ. Конечно, хотѣлось бы, чтобы нѣмецъ былъ побитъ, „exterminer cette sale race," но чтобы это сдѣлалось само собой. А если это сдѣлаться не можетъ, ну, все равно, только бы конецъ какъ-нибудь Я не прикрашиваю, не сгущаю красокъ, а просто всѣ устали и отношеніе ко всему самое пассивное. Одно желаніе горячее у всѣхъ—конецъ бы...

... Третій день находимся въ траншеяхъ и въ условіяхъ очень тяжкихъ. Только разъ въ сутки можемъ сообщаться съ тыломъ, ночью и то съ трудомъ, такъ какъ артиллерійскій огонь не умолкаетъ ни на одну минуту. Мы почти окружены нѣмцами. Питаемся консервами. Сегодня намъ принесли немного фасоли бѣлой, вареной.

Мучаемся отъ жары. Достали воды. Но сколько. Два литра на цѣлую секцію, а въ секціи 45 человѣкъ.

Шли дожди. А этой ночью ударилъ морозъ. Дрожимъ отъ холода. Ноги какъ въ огнѣ. Работаемъ по ночамъ. Темень хоть глазъ выколи. Падаемъ въ ямы выбитые снарядами. Набираемъ воды въ башмаки. Покрываемся съ ногъ до головы грязью. Все мокро и сыро. И нѣтъ ничего ужаснѣе мороза, когда всѣ члены тѣла влажны. Три дня почтовыя сообщенія были совершенно прерваны; вчера получилъ письмо съ громаднымъ опозданімъ. Получилъ вашу книгу „Записки Анны". Прочелъ съ огромнымъ вниманіемъ, прочту еще разъ. Очень оригинальна по сжету и по формѣ. А Сергѣевъ-Ценскій мнѣ не нравится, не люблю я его манерничанья. Пишите, пишите чаще...

5-го декабря 1916 г.

Уважаемый товарищъ.

Снова четырнадцатый день впроголодь, безъ супа, кофе, горячей пищи... Питаемся, какъ можемъ. Изворачиваемся на всѣ способы.

Неизвѣстно, когда насъ смѣнятъ въ концѣ концовъ. Дали намъ немного людей для подкрѣпленія. И все таки таютъ роты.

Прошлый разъ мы провели четырнадцать дней. А теперь должно быть больше.

Жду съ нетерпѣніемъ. Находясь на линіи, не могу даже найти намекъ на газету. Отрѣзаны отъ остального міра.

Отъ постояннаго пребыванія на одномъ мѣстѣ безъ возмож-

ности прилечь члены ноютъ. Все существо словно изломано. Не сплю, а забываюсь въ кошмарной дремотѣ, сидя, скрючившись, кой-какъ.

Два дня падалъ снѣгъ. Немного повеселѣло на душѣ. Бѣлое снѣжное пространство, уходящее въ мглистую даль, напоминало зимній пейзажъ Россіи.

Перемѣнился вѣтеръ. Приходится снова съ тоской ожидать непролазной грязи.

А грязь дѣйствительно ужасна. Вся поверхность обращена въ пыль. И когда польетъ дождь, эта пыль обращается въ какое-то тѣсто. Когда мы шли сюда, въ нѣкоторыхъ пунктахъ нужна была помощь двухъ-трехъ товарищей, чтобы выкарабкаться изъ липкой грязи.

Свѣтитъ луна. А раньше тьма была непроглядная. Терялись люди въ проволокахъ, выбоинахъ. А потомъ трупы ихъ находили. Въ сосѣднемъ полку священникъ нечаянно отсталъ на мигъ отъ колонны. Утромъ его нашли въ ямѣ. Уже окоченѣлъ.

Понемногу все-таки организовываемся. Слѣдующему полку, что займетъ наше мѣсто, будетъ легче, если, конечно, не разразится чудовищный ураганъ огня, ливень взрывающихся махинъ.

Скучно. Жду отпуска. Надѣялся я, что буду его имѣть въ концѣ этого мѣсяца. А теперь не увѣренъ и въ этомъ...

17-го октября 1916 г.

Такъ долго не писалъ Вамъ! (не считать же открытки). Такъ соскучился не писать Вамъ, не отвѣчать на Ваши милыя, особенно послѣднее, письма!.. А никакъ нельзя было, не было времени ни дохнуть, ни отдохнуть. Сейчасъ идетъ дождикъ, удалось мнѣ устроиться въ моей дырѣ такъ, чтобы не заливало меня; прошлую ночь имѣлъ отдыхъ — выспался (а это у насъ рѣдко) и вотъ засѣлъ писать Вамъ — Вамъ первой. Только не ждите, чтобы письмо мое отвѣтомъ на Ваше было. Что-то со мной сдѣлалось-приключилось, чего и самъ никакъ не пойму. Получаю письма съ радостью, читаю ихъ съ наслажденіемъ, люблю всѣхъ, кого любилъ, также крѣпко; помню и вспоминаю обо всѣхъ также часто, еще чаще. А писать имъ, отвѣчать на ихъ запросы, откликнуться на то, что они мнѣ разсказываютъ — не могу, или же не могъ до сегодня.

Что-то на моментъ, за послѣдніе дни, иссякло во мнѣ, что-то исчезло, улетучилось и упустилъ я нить. Что это, что за нить — самъ не знаю. Знаю только, что охотно, радостно читаю письмо, а хочу писать и нѣтъ у меня ни мысли, ни слова, а такъ — пустота одна. Вотъ и писалъ, даже когда было время, только два слова — открытку. Не моя это вина — не взыщите. Ласточка!

Думаю, что причина этому усталость. Усталость тѣла, усталость и ослабленіе нервовъ. Усталости этой уже не чувствую, не сознаешь и не думаешь о ней, но только знаешь, что она есть.

Помилуйте! сорокъ дней ужъ ходимъ, сражаемся, носимъ на плечахъ невѣроятныя тяжести, часто ненужныя, а потому еще болѣе тяжелыя, не доѣдаемъ, не спимъ — устанешь. А отдыхъ, заслуженный отдыхъ! когда то онъ будетъ еще?

Пишу все это не затѣмъ, чтобъ жаловаться, увѣряю Васъ, что нѣтъ! Къ тому же я и здоровьемъ и духомъ превосходно себя чувствую — а, только чтобъ дать Вамъ хоть смутное понятіе о нашей жизни, чтобъ пояснить, почему не могу писать.

Сейчасъ мы уже нѣсколько дней какъ залегли передъ сильно укрѣпленной болгарской позиціей, которую намъ предстоитъ взять. Мы уже два раза атаковали ихъ, но сломать еще не удалось. Возьмемъ ее навѣрно. Во 1-хъ это необходимо, а во 2-хъ у насъ для этого имѣются нужныя силы и средства. Только, конечно, требуется нѣкоторая подготовка. И вотъ, пока что, мы лежимъ днемъ въ своихъ ямкахъ, а ночью работаемъ. Пушки грохочутъ безпрерывно днемъ и ночью. Ночью холодно, а днемъ очень жарко и лежимъ въ неглубокихъ ямкахъ, въ открытомъ полѣ. Спать трудно, такъ забываешься немного. Прошлую ночь мнѣ былъ отдыхъ, я чудесно выспался и потому пишу — отдохнулъ. Пушки тоже не мѣшаютъ больше — привыкъ. Вообще я сегодня благодушествую, п. ч. удалось сварить горячаго потажу и кофе. Это большой праздникъ. Намъ приносятъ пищу разъ въ сутки, ночью, и все холодное: супъ, кофе и пр.; это понятно: кухня за пять килом. отъ линіи. Увидятъ болгаре дымъ — и бухъ мармитомъ! Поэтому и мы ничего грѣть не можемъ. А сегодня я еще съ двумя товарищами ухитрились сварить горячаго супу и кофе на троихъ. Ей-ей, на свѣтлое Воскресеніе такъ публика не радуется и не благодушествуетъ. За сорокъ дней только разъ, пять дней тому, удалось смѣнить сорочку и выкупаться. А съ тѣхъ поръ опять не мылся.

Не сердитесь, значитъ, милая, если письма мои не интересны, или если совсѣмъ пишу только открытки — нельзя иначе. А сами продолжайте писать мнѣ по прежнему и чаще: радость мнѣ это большая. Послѣднее письмо Ваше совсѣмъ таки оживило и согрѣло меня.

Четвергъ 28-го Октября

Уважаемый товарищъ

Г-жа Крестовская.

Позавчера, 26, получилъ посланную Вами посылку. Сердечное спасибо. Хотя сейчасъ и кормятъ уже нѣсколько лучше все же оставляетъ желать многаго, и посылка эта весьма кстати. Полкъ нашъ теперь уведенъ на отдыхъ изъ Шампани. Находимся въ долинѣ, между Альпами и Вогезами. По слухамъ, пробудемъ здѣсь до конца Ноября, а потомъ не знаю куда; вѣроятно, опять въ траншеи, на зимнія квартиры. Сейчасъ здѣсь не плохо. Томятъ не очень, экзерсисы только утромъ и послѣ обѣда, но сильно терпимъ отъ холода.

Въ амбарахъ, что живемъ, сквозитъ, огня разводить запрещаютъ, а дуютъ здѣсь рѣзкіе и холодные горные вѣтры: „ля бизъ," по-швейцарски (впрочемъ, мы вѣдь недалеко и отъ Швейцаріи). Страдаешь и мерзнешь, только и согрѣешься, что ночью, когда не раздѣвшись, завернулся во все, что только можно на себя напялитъ. Писать трудно: руки и ноги коченѣютъ. Я особливо зябокъ; вѣроятно, возрастъ и усталость сказываются. Ну, еще разъ спасибо за ваши хлопоты и заботы и позвольте крѣпко пожать руку.

2-го іюня 1916 г.

Милостивая Государыня Крестовская.

Поздравляю Васъ и докладую Вамъ въ томъ, что я человѣкъ россійскій, небогатаго состоянія, мастеровой, слесарь, работалъ въ Америкѣ передъ войною 4 мѣсяца, гдѣ съ поворотомъ пріѣхалъ до Франціи. Хотѣлъ ѣхать въ Россію, но не имѣлъ дороги и застался во Франціи и сейчасъ нахожусь въ легіонѣ французскомъ и не имѣю никакихъ родителей во Франціи, не получаю ни письма, ничего рѣшительно и мнѣ очень скучно. Говорить не могу по-французски и не слышу никакой новости. Я пробылъ 8 мѣсяцевъ среди этого легіона и не видѣлъ человѣка, который могъ бы говорить по-русски и въ концѣ концовъ нашелъ товарища, который говоритъ по-польски, то я съ нимъ

разговорился и немного развеселился, и онъ мнѣ далъ адресъ Вашъ, то я подумалъ себѣ, напишу письмо, можетъ получу какую новость или газету на русскомъ языкѣ, я себѣ почитаю отъ скуки и узнаю какую новость, потому что здѣсь никакой новости нѣтъ, только видать лѣсъ и слыхать стрѣлы огнестрѣльнаго оружія и паданье пуль и разрывы ихъ и видно, какъ онѣ разбрасываютъ землю вверхъ и внизъ и вправо и влѣво, во всѣ стороны, а люди, что находятся здѣсь, всѣ спрятаны въ землѣ въ разныхъ каналахъ и ямахъ и не видятъ никогда спокойнаго времени. Днемъ и ночью одно и тоже. Только въ то время увидятъ спокойное, когда пойдутъ на отдыхъ на 6 дней, а послѣднее время никого больше не видать, только видать свои жилища, какъ лѣсовые звѣри подѣлали въ землѣ такія норы, въ тѣхъ норахъ кровать и т. д. На этихъ кроватяхъ накладывается солома для спанья и спитъ человѣкъ, никогда не сбрасываетъ сапогъ, ни шинели, только все время одѣвши ходитъ, зайдетъ въ свою нору, тамъ темно, ничего не видать, нѣтъ ни лампы, ни свѣчи, нечѣмъ освѣтить. Кто имѣетъ деньги то купитъ себѣ свѣчу. Эти наши норы подѣланы надъ каналами боевыми. Когда идетъ дождь, тогда идетъ прямо въ нашъ домъ и дѣлается мокро и спать очень плохо, да нечего дѣлать — сейчасъ война.

Съ тѣмъ до свиданья.

Адресъ: ....

Прошу Вашей милости, если найдется въ Парижѣ Самоучитель русско-французскій — пришлите.

12-го сентября 1916 г.

Многоуважаемая Госпожа Крестовская!

Ваше письмо и деньги получилъ. Большое спасибо. Книгъ еще нѣтъ. Пришли два номера Русскихъ Вѣдомостей.

Мои раны понемногу закрываются и надѣюсь на будущей недѣлѣ, окончательно поправившись, получить отпускъ, который даютъ всѣмъ blessés de guerre.

И вотъ теперь, когда этотъ моментъ, всегда такъ страстно ожидаемый и такой манящій, близокъ, невольно спрашиваю себя: да, полно, дастъ ли онъ немного хоть того забвенья отъ казарменщины и войны, котораго такъ жадно хотѣлъ. И отвѣтъ получается отрицательный. Психологія и интересы солдатъ фронта и Парижанъ совершенно различны.

Здѣшній госпиталь не можетъ служить переходной ступенью, т. к., находясь въ Zone des armées, мы мысленно живемъ съ тѣми, которые остались позади насъ. Пріобщиться къ жизни Парижа и жить только моментомъ, — на это мы, русскіе неспособны.

Французы, — да, они имѣютъ это счастливое свойство, но не мы, и не я, въ частности. Можетъ быть, это потому, что они попадаютъ прямо къ себѣ, въ родную имъ среду и въ ней растворяются. Я безусловно не найду никого мнѣ близкаго. Отсюда уже получается отчужденность и, какъ слѣдствіе этого, критика ихъ и насъ, и въ результатѣ — неудовлетворенность и „cafard“ по возвращеніи. Но довольно объ этомъ. Все это, конечно, не помѣшаетъ мнѣ быть въ отпуску и надѣлать глупостей, если случится оказія.

Въ госпиталѣ у насъ тишина и спокойствіе. Даже слишкомъ. Мы — не индивидуумы, чувствующіе и мыслящіе. Нами интересуются постольку, поскольку у насъ вырвано мясо. Мы пѣшки, которыми всецѣло распоряжаются и за которыхъ мыслятъ другіе. Наше право — молчать и подчиняться. Что можетъ быть унизительнѣе этого? видишь иногда передъ собой глубокомысленн-серіозную физіономію юноши, изображающаго изъ себя врача, слушаешь его заключенія, чувствуешь его незнаніе и je m'en foutisme по отношенію къ больному, и все кажется какимъ то фарсомъ. И только сознаніе серіозности дѣла и главной цѣли даетъ возможность не обращать вниманіе на эти мелочи, хотя изъ нихъ то и составляется сейчасъ наша жизнь. Можетъ быть въ настоящій моментъ, для теперешнихъ людей, это такъ и нужно и это ихъ удовлетворяетъ...

Мнѣ же кажется, что нѣкоторые наши проповѣдники будущаго строя могли бы взять нашъ госпиталь за образецъ для предлагаемыхъ намъ будущихъ тюремъ. Моральное воздѣйствіе и уничтоженіе личности здѣсь доведено до максимума.

Простите за то, что заболтался.

19-го сентября 1916 г.

Отъ всей души благодарю Васъ, дорогая Лидія Александровна, за Ваше письмо. Читалъ его, и я переживалъ тотъ уютъ и тепло, которые вноситъ въ Вашу жизнь Вашъ сынокъ... А онъ у Васъ совсѣмъ еще не старый мужчина, хотя и одинхъ лѣтъ съ такой большой войной... И уже говоритъ по французски... Удивительно! Я вотъ и постарше его, а по французски еще не говорю...

На этомъ важномъ сообщеніи — что я не говорю по французски — слѣдовало бы и закончить свое посланіе, т. к. я ясно представляю себѣ, какъ Вамъ надоѣли солдатскія письма, но не могу удержаться, не смотря на морозъ, сковывающій руки. Причинъ для проявленія слабости воли у меня много: во первыхъ — я уже около двухъ недѣль на новомъ мѣстѣ и Ваше письмо получилъ съ опозданіемъ; во вторыхъ, — сегодня воскресенье и у меня цѣлыхъ полдня свободнаго времени; въ третьихъ

Вамъ все равно ни одна изъ этихъ причинъ не покажется уважительной...

Придравшись къ Вашему вопросу — почему плохо въ пулеметныхъ школахъ — изложу Вамъ исторію развитія пулеметнаго „искусства". До этой войны пулемету ни въ одной арміи, за исключеніемъ германской, не отводилось серьезной роли; пулеметомъ снабжалась въ исключительныхъ случаяхъ какая нибудь конная или пѣхотная часть, но спеціальныхъ кадровъ пулеметчиковъ не было, да и пулеметовъ въ началѣ войны было самое ничтожное количество. Нѣмцы лѣтъ десять тому назадъ выдѣлили пулеметъ въ спеціальный и отдѣльный родъ оружія, обучая пулеметныя роты спеціально своей службѣ, какъ напримѣръ, артиллеристовъ обучаютъ спеціально артиллеріи. Благодаря этому, нѣмецкія пулеметныя команды могутъ самостоятельно вести бой какъ противъ пѣхоты и кавалеріи, такъ и противъ артиллеріи — одинаково при наступленіи и оборонѣ, — тогда какъ французская армія до сихъ поръ вынуждена была пользоваться пулеметомъ только при защитѣ траншей противъ пѣхотныхъ атакъ. И т. к. нѣмцы являются теперь законодателями военной „моды", то французское высшее командованіе тоже стало считать пулеметъ первенствующимъ, важнѣйшимъ родомъ оружія и задалось цѣлью поставить пулеметное дѣло на такую же высоту, какъ въ германской арміи. Говорятъ, что количествомъ пулеметовъ французы уже догоняютъ нѣмцевъ, но личный составъ пулеметныхъ командъ остается по прежнему необученнымъ и не подготовленнымъ. Этотъ пробѣлъ пулеметныя школы теперь и стараются заполнить. Но въ 50 дней (25 дней при dépôt и 25 дней въ центральной школѣ) нельзя научить солдата тому, на что требуется два съ половиной года (какъ въ нѣмецкой арміи). Это для всѣхъ ясно; но ясно также и то, что дѣло спѣшное и предоставить больше время на обученіе нельзя, — благодаря этому всѣ нервничаютъ и суетятся. Генералъ, нервничая, отдаетъ распоряженіе: „Обучить, чего бы это ни стоило"; до лейтенанта, завѣдующаго школой, генеральское распоряженіе доходитъ уже въ такой формѣ: „Замучить девятерыхъ, лишь бы выучить десятаго". Я не могу сказать, вездѣ ли такъ плохо — много вѣдь зависитъ отъ характера непосредственнаго начальника, — но трудно вездѣ.

Нашъ учебный peloton des mitrailleurs, недѣли двѣ тому назадъ, выдѣлили изъ общаго лагеря полка и расквартировали въ другой деревнѣ (верстахъ въ 20 ти отъ прежней стоянки). Съ переходомъ на новое мѣсто, мы перешли въ подчиненіе къ другому chef de bataillon, смѣнилось какъ то вдругъ и все низшее начальство. Новое начальство относится ко мнѣ скорѣе доброжелательно, чѣмъ предвзято, какъ оно должно бы относиться къ осужденному. Напримѣръ, по воскресеньямъ у насъ до 50 процентовъ уѣзжаютъ въ отпускъ на 24 часа; мнѣ какъ осужден-

ному, ни подъ какимъ видомъ не полагается отпуска; но не смотря на это вчера мнѣ вручили permission въ Парижъ на цѣлыхъ 48 часовъ,—за отличіе на практической стрѣльбѣ по движущимся мишенямъ... Кстати сказать, единственное мое „дарованіе“ — умѣнье хорошо стрѣлять — только на старости лѣтъ стало поощряться властями предержащими, а раньше оно всегда являлось минусомъ при оцѣнкѣ моего поведенія...

Я совершенно здоровъ и толстѣю на положеніи embusqué. Рука дѣйствуетъ плоховато на работѣ — силы нѣтъ,— но все же не очень замѣтно, да и физической работы теперь мало у меня. Плохо только служитъ сердце—требуетъ ремонта. По „сердечному“ вопросу мнѣ хотѣлось бы попасть въ Парижъ, чтобы въ одномъ изъ госпиталей сдѣлать оцѣнку своего „сердечнаго“ состоянія, т. к. обращаться къ здѣшнему военному major'у съ такой плохо поддающейся діагнозу болѣзнью и не могу,— рискую быть заподозрѣннымъ въ желаніи получить exempt de service. Предложенный вчера отпускъ я отклонилъ по причинѣ отсутствія средствъ передвиженія — денегъ. Если Вы будете добры снабдить меня малой толикой этихъ „средствъ“ къ слѣдующей субботѣ, то въ слѣдующее воскресенье я объявлюсь въ Парижѣ, а то такъ изъ Blois, можетъ быть, удастся пріѣхать, если и тамъ начальство окажется такъ же милостиво.

Сапожниковъ, вѣроятно, уже уѣхалъ. Если окажется еще въ Парижѣ — не откажите передать ему мой поклонъ. Онъ долго держится, дай Богъ не сглазить.

Мой привѣтъ Игорю (а какъ по батюшкѣ — Всеволодовичъ, если не ошибаюсь). Желаю Вамъ всего хорошаго и прошу простить меня, что я отнимаю у Васъ много времени и доставляю много хлопотъ.

...К...

27-го апрѣля.

Дорогая Лидія Александровна!

Русскія бабы говорятъ „чтой-то скушно стало... повыть бы (спѣть) маленько!“... такъ и я, какъ только „скушно“ станетъ, я за перо и пишу своей Ласточкѣ и станетъ веселѣе и свѣтлѣе. Давно уже не писалъ Вамъ, цѣлыхъ двѣ недѣли. И отъ Васъ давно уже не получалъ ничего. Не писалъ, и никому не пишу, п. ч. ужъ больно „скушно“, до такой степени, что всѣ мысли и чувства изсякли. Когда-то ужъ мы либо въ наступленіе пойдемъ, либо кончится все это? Не стоитъ впрочемъ говорить объ этомъ, не хочу я своей скукой Васъ заражать. Но моя скука не глубокая, случайная, и малѣйшее движеніе воды сейчасъ же ее смоетъ, а вотъ какъ Вы, Ласточка моя живете? Хотѣлось бы ужъ на свободѣ быть ей Богу, придти къ Вамъ, въ Парижѣ, говорить и сидѣть, и слушать, какъ Вы говорить бу-

дете; а то и просто сидѣть и молчать. Кажется мнѣ это такъ странно отдаленно, что я вотъ хочу себѣ представить, какъ это сидятъ и разговариваютъ два человѣка и не могу... Право! такъ таки не могу себѣ этого представить и очень это мнѣ странно кажется. Одичалъ.

Былъ у насъ съ визитомъ ген. Сарайль — смотръ намъ дѣлалъ. Произнесъ рѣчь такого содержанія: „бываютъ легіонеры хорошіе солдаты, есть и плохіе (глубокая истина)! Я отдалъ зуавамъ приказъ стрѣлять по Васъ! (было нѣсколько дезертировъ-нѣмцевъ или австрійцевъ) и велѣлъ убрать Васъ изъ батальона (50 чел. пришли сюда изъ первой линіи); если между Вами есть такіе, которые вспомнили, что они нѣмцы — пусть скажутъ! Но здѣсь они должны быть французами! Васъ пошлютъ обратно на фронтъ. Надѣюсь, что Вы покажете себя хорошими солдатами... Не то зуавы стрѣлять будутъ!..“

Забылъ только бравый генералъ, что хотя его рѣчь относилась только къ нѣмцамъ (имъ же нѣсть числа), среди этихъ нѣмцевъ были разсѣяны и мы...

Допустимъ, что эта острастка стрѣлять, не острастка только, что же тогда. Будутъ спеціальныя пули, которыя только по нѣмцамъ бьютъ, или же намъ, не нѣмцамъ, особые знаки на лбахъ намалюютъ?

Словомъ, доложу я Вамъ, служить Франціи въ легіонѣ только пріятность одна и развлеченіе.

Будетъ объ этомъ! ужъ давно мнѣ хотѣлось, Лидія Александровна, чего нибудь послать Вамъ. Только чего? Кольцо? да кто его только теперь не носитъ! Qui n'a pas sa bague de poilu?! demandez la bague du poilu! Тоже и ручку изъ патроновъ и прочія всякія такія измышленія! Наконецъ придумалъ: quart! самый что ни на есть солдатскій „quart“. Вы вѣдь тоже солдатка-волонтерка, а потому и Вамъ его имѣть полагается. Да еще гравированный по настоящему, по солдатски-то вѣрно.

Буду доволенъ, если онъ Вамъ понравится, а пошлю его не нынче-завтра.

29.... 1916 г.

Спасибо, милая Лида Александровна, за Ваше хорошее письмо, за Ваши нѣжныя, тихія строки.

Такъ и хотѣлось мнѣ, чтобы въ тишинѣ ночи, не такой какъ другія, въ сумеркахъ умиравшаго дня, женщина въ темномъ, грустная и тихая близкая-далекая написала мнѣ это письмо.

И мнѣ хорошо было думать о Васъ той, какой я зналъ два года тому назадъ, когда встрѣчалъ я Васъ на темной лѣстницѣ нашего дома. И почему то вспоминается мнѣ, кажется, Блока:

„И каждый вечеръ въ часъ назначенный,
„Иль это кажется лишь мнѣ
„Дѣвичій станъ, шелками схваченный,
„Безшумно движется въ окнѣ.
„И дышутъ древними повѣрьями
„Ея упругіе шелка
„И шляпка съ страусовыми перьями
„И въ кольцахъ узкая рука.“

Вы говорите — забыть войну.

Это — невозможно, гораздо больше, чѣмъ Вы полагаете. Даже на мигъ нельзя ее вполнѣ забыть, даже въ снахъ живетъ она, причудливо сплетаясь съ прошлымъ. Въ тѣ рѣдкія мгновенія, когда, и то лишь во снѣ, исчезала война, я просыпался съ безсознательною грустью и только позже понималъ откуда она

Черезъ пару дней идемъ на отдыхъ послѣ ряда событій и долгихъ, почти четырехъ, недѣль траншейной жизни. Устали. Грязны. Нервы натянуты.

Уже 2 дня мы на вторыхъ линіяхъ. Дивное солнце. Лежу на землѣ и читаю Вербицкую „Ключи Счастья“. Меня смѣшитъ, что я ее читаю съ тѣмъ же интересомъ, что когда-то. Не смѣшно ли послать солдату въ траншеи Вербицкую?

Умеръ Ковалевскій. Я помню его въ Collège de France, какое у него было дивное, неземное, славное лицо.

Послѣ нашей атаки, какъ обѣщано было, возстановили отпуски, прекращенные почти два мѣсяца въ видѣ наказанія (?) за ошибку одного баталіона Я нахожу возмутительнымъ это пониманіе наказанія, когда цѣлую дивизію наказываютъ за ошибку другихъ и наказаніе скрываютъ, чѣмъ лишаютъ его единственнаго смысла — примѣрности.

Спасибо за пасхальную посылку, получили мы отъ Тины съ 53, rue Glacière. Что это за адресъ? Всякихъ мелочей было видимо невидимо и не мало полезнаго и нужнаго.

23-го апрѣля 1916 г.

Пасха! Христосъ Воскресе, дорогая Ласточка! Христосъ Воскресе! Чудное, чудное утро! Какое солнце! грѣетъ и ласкаетъ такъ нѣжно, точно цѣлуетъ лучами. Напротивъ, черезъ оврагъ, церковь, которую я уже Вамъ описывалъ. Построили наружу алтарь (внутри тѣсно маленькаго), и служатъ мессу. Хорошо слышно пѣніе. Христосъ Воскресе! миръ, а въ человѣцехъ благоволеніе...

Что-то такъ и хорошо. Тихо. Всѣ тамъ, на мессѣ, а я сижу передъ своей студіей и [illegible] [illegible] Лѣнь. И [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]! Хорошо. Галки надо мной кричатъ (много ихъ здѣсь) и крикъ ихъ не противенъ; тоже и

крикъ этотъ солнце сглаживаетъ-смягчаетъ. На столѣ моемъ (доска на камняхъ) роскошный букетъ—ирисы. Попалъ я вчера въ лощину всю заросшую великолѣпными ирисами. Просто опьяненіе, такъ красиво. Букетъ мой наливаетъ меня ароматомъ и еще лѣнивѣе мысли. Жаль, что нельзя послать Вамъ его, вложу листокъ ириса въ письмо.

Какъ Вы сейчасъ провели утро, дорогая Ласточка, въ каменномъ запертомъ Парижѣ, разбираясь въ кучѣ безконечно скучныхъ письмахъ волонтеровъ, просящихъ и то, и это и еще это. Для Васъ все война. А мы вотъ, здѣсь, такъ и совсѣмъ о ней позабыли. И такъ это чудно, въ это прекрасное утро, знать, что мармиты продолжаютъ падать, а люди продолжаютъ гибнуть. Чудно и дико. Не хочу думать объ этомъ. Не хочу и Вамъ напоминать... А только Вы и такъ не забываете, и объ этомъ особенно больно думать въ это утро. Такъ бы хотѣлъ чтобъ Вы... не забыли, о нѣтъ, а чтобъ этимъ воспоминаніемъ жить стали—къ жизни опять обернулись.

Вотъ! заговорилъ о войнѣ и, хоть солнце не померкло—оно сильнѣе жалкихъ людскихъ звѣрствъ—но „миръ, а въ человѣцехъ благоволеніе" ужъ кажется жестокой ироніей. А все-же, здѣсь сейчасъ повсюду миръ и благодать разлиты и легко дышать.

Понедѣльникъ 10-го апрѣля.

Дорогая Ласточка, дорогая Лидія Александровна!

Три часа по-полудни. Только что отстоялъ послѣдніе часы свои (я сегодня de garde) и свободенъ до вечера, пока смѣнятъ. Солнце ярко свѣтитъ—горитъ бѣлымъ огнемъ, славный вѣтерокъ дуетъ—освѣжаетъ, и какая-то истома и тѣла, и мысли охватываетъ.

Какая-то хорошая минута и славно себя чувствую. Хочется подѣлиться этой хорошей минутой, разсказать ее кому либо, и вотъ пишу Вамъ.

Съ утра дождь шелъ. А потомъ небо прояснилось и такая благодать выпала, что душа радуется. Кругомъ все такъ свѣтло, залито горячимъ блескомъ, и не знойно. Лежу на травѣ, правда, рѣдкой, бѣдной и чахлой, еще зимняя травка, полужелтая. Не знаю, всегда ли она здѣсь такая, или же потому, что мы все изрыли и истрепали здѣсь—и до насъ, въ балканскія войны, тоже очень край истощили—только и травка, и цвѣточки полевые очень блѣдные, жалкіе, и смотрѣть на нихъ грусть охватываетъ. Даже потому я и не посылаю Вамъ обѣщанныхъ цвѣточковъ: боюсь ужъ очень жалкими они Вамъ покажутся. Мнѣ они нравятся, люблю ихъ, ну а сорвать и засушить (въ письмѣ) - ничего отъ нихъ не останется. Такъ, пыль одна...

Гдѣ мы живемъ, была, я говорилъ ужъ Вамъ, деревня Вай-

телюкъ. Осталось еще нѣсколько развалинъ-домовъ убогихъ и церковь. Снаружи церковь на убогій сарай, въ убогомъ хозяйствѣ, похожая. Позавчера взяла охота внутри посмотрѣть. Я еще подобной церкви и не видѣлъ, но описать ее Вамъ хорошенько не сумѣю. Такое жалкое, такое приземистое, что одной этой церковкой можно объяснить и понять всѣ долгія муки и всю несчастную жизнь, примитивную, безпросвѣтную, — несчастныхъ македонцевъ, которыхъ еще нѣсколько встрѣтилъ здѣсь и по близости. Низкая, длинная и приземистая, сѣрая и грязная. Есть окна, есть гдѣ свѣту проскользнуть, но кажется проникнетъ туда лучъ свѣта и сейчасъ потемнѣетъ, такъ ему мрачно и тяжело сдѣлается. Есть и картины-иконы. Одна особенно большая, прямо на стѣнѣ намалевана. Этого совсѣмъ разсказать нельзя, такъ она примитивна. Изображаетъ адъ и рай. Наверху — Господь, окруженный святыми, ангелами, апостолами и пр. У ногъ его, на среднемъ планѣ, вѣсы, по одной сторонѣ три ангела, прикрывающихъ собой троихъ новоумершихъ и пронзающихъ длинными копьями трехъ чертей, рогатыхъ, рогатыхъ, какъ сѣверные олени. Я даже, пожалуй, и оленей такихъ рогатыхъ не видалъ (и оленей видалъ то я только въ зоологическомъ саду). А весь низъ картины представляетъ адъ. Красивыя женщины (по крайней мѣрѣ, художникъ хотѣлъ ихъ изобразить красивыми), богато одѣтыя, очень богато, всѣ подвергаются различнымъ ужаснымъ мукамъ. Мучаютъ ихъ все очень маленькіе черти съ страшно большими и развѣсистыми рогами. Нѣтъ. Этого не разскажешь, это надо видѣть. Но картина — прелесть! Еслибъ я умѣлъ, я бы ее скопировалъ. Краски и подборъ ихъ тоже единственный. Ничего подобнаго я еще не видѣлъ, ни по замыслу, ни по выполненію. Что курьезнѣе всего, это что въ аду мнѣ не запомнилось среди грѣшниковъ ни одного мужчины — все женщины. Какъ видно, здѣсь мужчины не грѣшатъ и въ адъ не попадаютъ, зато ужъ бабы...

Что хорошо сегодня, на этомъ солнцѣ — жаворонка услышалъ. Больше здѣсь все галки да вороны, да громадные коршуны летаютъ. Жаворонка рѣдко слышно. А сейчасъ надо мной поетъ. Въ Тиллелуа (недалеко отъ Руа) у меня въ траншеѣ былъ пріятель — жаворонокъ (весной прошлаго года). Я очень любилъ его и всегда старался, чтобъ моя очередь на развѣдкѣ выпадала съ восходомъ солнца. Какъ онъ чудесно пѣлъ. Вообще тамъ хорошо было! Замокъ чудесный, огромнѣйшій паркъ, чудесные лѣса... Здѣсь все голо. Знаете, что мнѣ сейчасъ въ голову пришло? Вотъ лежу я на травѣ и пишу Вамъ. И вотъ, еслибъ поднявъ голову я увидѣлъ ласточекъ, а впереди одну самую славную — Лидію Александровну. Въ самомъ дѣлѣ, Ласточка, чего Вамъ стоитъ? Встряхните крылышками и прилетайте сюда. Нашу сторонку грѣшную, бѣдную, убогую посмотрите, и намъ изъ далекой милой Франціи вѣсточку принесите — что-нибудь

хорошее прощебечите... Не смѣйтесь надо мной. Ласточка, говорю Вамъ солнце свѣтитъ и благодать мнѣ въ душу льетъ.

А у Васъ тамъ въ Парижѣ, засвѣтило уже солнышко, залило тепломъ своимъ? Могъ бы отсюда вамъ солнца перебросить, чтобъ и Васъ согрѣть хоть немного.

Вотъ ужъ два часа, какъ пишу письмо это. Напишу строчку и застыну, безъ движенія, безъ мысли. Какъ вы говорите: „Душа уходитъ"... Только она у меня сегодня уходитъ по хорошему, съ моего согласія. Пойдетъ, напьется солнца въ выси и назадъ, согрѣтая, ворочается.

До свиданья, дорогая.

5-го іюня 1916 г.

Многоуважаемая Лидія Александровна!

Получилъ деньги, получилъ и книги.

Отблагодарилъ экспедитора, нѣкую М-me Герценштейнъ. Но знаю, что все это черезъ Васъ — и спасибо, спасибо.

Мы пока на отдыхѣ.

Боялись, что Природа въ гнѣвѣ на людей откажетъ намъ Весну. Но она оказалась выше этого и солнце сіяетъ по прежнему и придаетъ даже смерти весенній видъ.

Но безконечно стыдно передъ животными, птицами и насѣкомыми — всѣ они поютъ гимнъ Жизни, а мы — убиваемъ ..

...Т.

13-го марта 1916 г.

Только что получилъ Ваше письмецо, и въ то же время увѣдомленъ женой о получкѣ мандата.

Какъ выразить благодарность за все это? — Трудно.

Благодарность вещь нѣмая, какъ все то, что искренне, и словами портишь только.

Вотъ уже 31 день, какъ живемъ подъ землей — съ червяками и крысами.

Входимъ окончательно въ отдѣлъ подземныхъ животныхъ.

Если не печально, то безъ сомнѣнія смѣшно.

Только ночью можно высунуть голову и при лунномъ свѣтѣ „посмотрѣть."

Вся земля распахана тѣми плугами, которые двигаются порохомъ.

Она полита кровью и засѣяна людьми.

На этой почвѣ должно вырости что-нибудь красивое для потомства.

Время отъ времени получаемъ съ сѣверными вѣтерками и тяжелые, хлорные газы для удушія и легкіе газы съ запахомъ англійскихъ конфетъ для глазъ.

Сыплется на насъ со всѣхъ сторонъ — снизу, съ боковъ, съ верху!

Казалось бы трагедія.

Такъ нѣтъ же. Подъ землей живутъ, смѣются, шутятъ, и часы проходятъ и дни. „Извнѣ“ приходятъ только газеты и письма.

Но это — двѣ вещи драгоцѣнныя, и чтобы пойти за ними въ ближайшій городокъ, охотно рискуютъ жизнью.

И рискуютъ иногда за печальныя новости: дѣти заболѣли, лошадь кашляетъ, овесъ проданъ слишкомъ рано и слишкомъ дешево.

И все это сливается въ какой то безсознательный туманъ, смѣшаный съ грохотомъ пушекъ, передъ мыслью: „А Верденъ все стоитъ, гражданинъ уступаетъ солдату.“

И вижу, что мы васъ тоже увлекли въ эту жизнь.

Пишемъ Вамъ, надоѣдаемъ, клянчимъ — каждый кричитъ о своей ранѣ и многіе стонутъ.

И Вамъ иногда жутко и трудно становится — за другихъ.

Пусть же всѣ тѣ изъ насъ, которые останутся живы, повѣсятъ на Вашей груди тотъ крестикъ, который даютъ всѣмъ тѣмъ, которые отдаютъ всю свою дѣятельность нуждамъ войны.

28-го іюня 1916. г.

Случилась здѣсь, Лидія Александровна, вещь необычайная сегодня, случилось нѣчто необыкновенное, неожиданное, диво дивное, непредвидѣнное, событіе странное, удивительное.

Больше не вѣрю въ невозможное, — послѣ этого. „Жди и дождешься“ — стала ясной пословица.

Задѣлъ ли я Ваше любопытство? Желаете ли вы знать въ чемъ дѣло?

Такъ вотъ въ чемъ: „Получилъ я сегодня вѣсточку отъ Г-жи Крестовской!“ Изъ мертвыхъ воскресла!

Съ тѣхъ поръ какъ обѣщала навести справки и „тотчасъ же“ написать — ни звуку, ни духу!

Думалъ я, гадалъ я какъ и что. А отвѣта не далъ. Просилъ Кауон'а: „Забѣжите, разузнайте“ обѣщалъ онъ и вѣроятно, получите его визитъ.

А давно уже это! Сколько, не помню. Больше мѣсяца! Мѣсяцъ тридцать дней, день 24 часа, но есть часы сѣрые-длинные, а есть часы розовые-короткіе и выходитъ: мѣсяцы-вѣка и мѣсяцы-минуты.

Какъ же сговориться?

А теперь на нѣсколько дней въ деревушкѣ, гдѣ видимъ давно не виданныя вещи: запаханныя поля, цвѣтущие сады, землянику, коровъ, гусей и женщинъ.

Смотримъ и восхищаемся будто никогда не видали. На дняхъ уѣдемъ. Куда? Спросите у Жоффра. Въ воздухѣ буревѣстники. Будетъ буря! и очевидно nous serons de la danse!

Правда въ Кауоn'ѣ потерялъ незамѣнимое.

Теряю теперь еще одного товарища—мою „blague à Tabac!" Истерлась она, голубушка, устала, стонетъ и проситъ пощады. Помогите мнѣ ее замѣнить; служила она мнѣ вѣрою и правдою.

Получилъ мѣсяцъ тому назадъ письмо отъ нѣкой M-lle X.: „Желаете ли читать?" отвѣчаю: „Да, да, да." За цѣлый мѣсяцъ получилъ маленькую книженку. Если ее знаете, скажите ей, что я уже не читаю по складамъ.

А въ Парижъ еще не думаю ѣхать; еще мѣсяца полтора—два.

Пока досвиданья. Пишите же. Пишите.

27-го іюля 1916 г.

Только что получилъ, Лидія Александровна, отъ общества 600 centim'овъ и посылку, въ которой среди лакомствъ нашелъ чудную blague à tabac. Какъ всѣ предметы женскаго рода — она славненькая и хорошенькая. Теперь, набитая душистымъ табакомъ, она удобно улеглась въ моемъ карманѣ. По надписямъ я увидѣлъ, что она англичанка. Я объяснилъ ей тотчасъ же, что если она обладаетъ постоянствомъ и прочностью... по швамъ, она встрѣтитъ у меня сердечную привязанность, и познакомилъ ее съ другой важной персоной, которая называется Трубка и съ которой ей придется часто жить вмѣстѣ. Послѣдняя, подарокъ Когана (онъ трубку не куритъ) тоже англійскаго происхожденія, но уже давно на фронтѣ и привыкла ко всѣмъ невзгодамъ траншейной жизни. Она научитъ свою новую товарку не поступать, какъ поступаютъ многія невоспитанныя Трубки и Blagues, которыя, пользуясь разсѣянностью и удобной минутой, выскальзываютъ изъ кармана и „теряются."

Мой карманъ долженъ быть для нихъ очагомъ, котораго онѣ не должны оставлять безъ моего позволенія. Я не могу позволить въ ихъ отношеніи нравы англійскихъ миссъ, которыя уходятъ изъ дома когда угодно и съ кѣмъ угодно и иногда не возвращаются, какъ это часто дѣлаютъ мои ножи.

Какъ бы то ни было, я Васъ искренне благодарю за все посланное. Послѣзавтра мы садимся въ автомобили и уѣзжаемъ на двѣ недѣли въ чудную деревушку, гдѣ я сумѣю Ваши 6 франковъ превратить въ куриныя яйца, въ коровье молоко и масло и въ виноградное вино.

Все мимолетно въ жизни человѣка, Лидія Александровна, а особенно въ жизни солдата. Навидавшись, какъ люди быстро и внезапно умираютъ, жизнь и плевокъ становятся схожими. Большая опасность приходитъ, какъ приходитъ время отдыха, умираетъ другъ и умираетъ врагъ, солнце сіяетъ и исчезаетъ, дожди перестаетъ и начинаетъ, трубки, ножи и fume-cigarettes „теряются" и появляются новыя, радость гонитъ тоску и наоборотъ.

— одни существа уходятъ, другія остаются привязанными къ намъ на жизнь, на смерть.

А все остальное мимолетно: дни бѣгутъ за днями, какъ тучи, надежда вспыхиваетъ и потомъ чахнетъ, г-жа Крестовская пишетъ, а потомъ не пишетъ, сбритая борода опять выростаетъ.

Лишь однѣ, неизмѣнимыя, неизмѣняющія — онѣ остаются съ нами. Это вши.

Какая ангельская привязанность! Какое постоянство! Достойно умиленія! Ни лаской, ни керосиномъ, ни угрозой, ни бензиномъ отъ нихъ не отвязаться. Вѣчно съ нами — и въ счастьѣ и въ невзгодахъ. Какъ всѣ любящія, онѣ кусаются. Страшныя патріотки, онѣ отрицаютъ теорію Мальтуса и даютъ суровый примѣръ француженкамъ.

А все таки, если бы можно было отъ нихъ отцѣпиться — были бы такъ рады...

Октября, 29-го.

Многоуважаѣмая соотѣчѣственица мадамъ Крестовски.

Какъ Вашимъ рус. компатріетамъ известно, что Вы одна съ начала войны озаботитесь про насъ всѣхъ до настоящчей времени все равно какъ усердная мать озаботится про своихъ дѣтей. Темъ же Вы нашли среди насъ Вашихъ компатріетовъ много почѣсти. Тѣмъ же прошу, дорогая наша пріятельница, не забывайте чемъ помогать еще одного изъ Вашихъ компатріетовъ (имя и фамилія).

ПИСЬМО ОДНОГО ВОЛОНТЕРА,

написанное мнѣ въ августѣ 1920 г. послѣ моей поѣздки на фронтъ.

Мнѣ хочется бѣжать Вамъ вслѣдъ мыслью, въ поѣздкѣ Вашей. Гдѣ-то Вы сейчасъ. Я этихъ мѣстъ не знаю, не бывалъ, но какъ будто все вижу: разрушенные дома, обломанные снарядами деревья, траншеи и ... наши солдатскія кладбища. Фронтъ очень обезображенъ былъ и мнѣ кажется, что я все знаю въ Кроонелѣ, хоть тамъ не былъ. Но мнѣ это представляется какъ это было, а теперь ужъ не то. Тянетъ иногда очень въ мѣста, гдѣ я въ траншеяхъ сидѣлъ и я мечтаю о такомъ путешествіи. Можетъ быть, когда освобожусь, его и сдѣлаю. Даже въ Македонію и туда хотѣлось бы! Глупый и странный сентиментализмъ, но мнѣ дороги эти мѣста и я бы многое далъ, чтобъ посидѣть на зарѣ весенней въ моемъ poste d'écoute въ Tilleloy и послушать моего жаворонка, который высоко надо мной чудныя пѣсни пѣлъ. Я со страстнымъ нетерпѣніемъ ждалъ каж-

дую ночь развѣдка и добровольно шелъ въ этотъ всѣми нелюбимый и неприятный poste d'écoute. Далеко впереди траншеи, одинъ, и жутко ночью. За то къ утру какая чудная пѣсня. Милый, милый жаворонокъ. Мѣсяцъ мы пробыли въ этихъ траншеяхъ и мѣсяцъ онъ намъ вѣренъ былъ. Хотѣлось бы встрѣтить своего врага нѣмца, что гдѣ нибудь противъ меня также таился и спросить его — пѣлъ ли и ему жаворонокъ, или только мнѣ...

ПРИЛОЖЕНІЕ.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГРУППЫ И ЕЯ ДЕКЛАРАЦІЯ.

Фамилія и имя	Возрастъ.	Національность.	Образованіе.	Служилъ въ ар.	Женатъ	Дѣти	
Александровъ Ал.	19	русскій	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	убитъ
Александровъ Мих.	41	русскій	дома	да	да	--	
Берманъ	30	еврей	домаш.	нѣтъ	да	--	убитъ
Бродскій	29	еврей	средн.	--	да	--	реф.
Богоявленскій	27	русскій	высш.	нѣтъ	нѣтъ	--	бѣж.
Борода Сергѣй	29	еврей	низш.	--	--	--	бѣж.
Бассевичъ	24	еврей	средн.	--	--	--	реф.
Голжинъ	22	русскій	низш.	--	--	--	въ Росс.
Ваништокъ	9	еврей	средн.	--	--	--	реф.
Вейсманъ	31	еврей	домаш.	да	да	да	реф.
Гуашуа	39	грузинъ	низш.	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	реф.
Гладкихъ	35	—	средн.	--	--	—	убитъ
Гростенъ	29	еврей	высш	--	--	--	реф.
Дель-Перуджія	27	русскій	средн.	--	--	—	умеръ
Довнаръ	24	полякъ	низш.	да	да	нѣтъ	
Джапаридзе	35		средн.	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	ран.
Зичльманъ	23	еврей	низш.	--	--	--	бѣж.
Зеленскій	27	еврей	средн.	--	--	--	убитъ
Корницкій	27	еврей	средн.	--	да	--	въ плѣну
Криницкій	37	еврей	средн.	--	да	да	
Куссъ	[illegible]	еврей	низш.	да	да	да	реф.
Кельфманъ	31	еврей	средн.	да	да	да	убитъ
Кучешвили	29	грузинъ	средн.	--	--	--	
Крикунъ	26	еврей	средн.	да	да	нѣтъ	убитъ
Кочуновскій	[illegible]	русскій	высш.	нѣтъ	да	да	ран.
Ласкинъ	36	русскій	низш.	--	да	да	ран.
Лебедевъ	30	русскій	высш.	да	да	да	ран.
Мельниковъ Іосифъ	23	русскій	средн.	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	ран.
Марковичъ	32	еврей	низш.	да	--	--	--
Марто	29	русскій	низш.	нѣтъ	да	да	--
Марголисъ	24	еврей	средн.	нѣтъ	нѣтъ	нѣтъ	--
Найденъ	32	русскій	низш.	да	нѣтъ	нѣтъ	--

[illegible]	26	еврей	средн.	да	--	--	
[illegible]	31	еврей	средн.	--	--	--	убитъ
Осбергъ	44	русскій	высш.	да	да	да	раненъ
Онипко	35	русскій	высш.	нѣтъ	да	нѣтъ	раненъ
Поповъ	35	русскій	высш.	нѣтъ	да	нѣтъ	убитъ
[illegible]	31	еврей	средн.	--	да	да	раненъ
Померанцевъ	25	русскій	средн.	--	--	--	[illegible]
Ралевскій	28	еврей	домаш.	--	да	да	
Слетовъ	38	русскій	высш.	--	--	--	убитъ
Смелянскій	25	еврей	средн.	--	да	да	
Сапожковъ-Кузнецовъ	33	русскій	высш.	—	да	--	раненъ
Тодосовъ	27	русскій	средн.	--	да	да	убитъ
Тодоровъ	26	болгар.	средн.	--	--	--	
Топельбергъ	30	русскій	средн.	да	да	да	
Тодромовичъ	29	еврей	средн.	--	да	да	реф.
Штейнеръ	32	еврей	средн.	--	да	да	неизв.
Шлейдеръ Самуилъ	22	еврей	средн.	--	--	--	реф.
Шлейферъ Михаилъ	28	еврей	средн.	--	--	--	реф.
Шлейферъ Мендель	25	еврей	средн.	--	--	—	реф.
Швецовъ	28	русскій	средн.	--	--	--	убитъ
Усиковъ	35	еврей	высш.	да	да	нѣтъ	раненъ
Цимбергъ	27	еврей	средн.	да	нѣтъ	--	
Фельдеронъ	24	еврей	средн.	да	--	--	убитъ
Фольдманъ	37	еврей	средн.	да	да	да	
Файнгольдъ	33	еврей	средн.	--	да	да	[illegible]
Федоровъ Михаилъ	34	русскій	средн.	да	да	да	раненъ
Фрейдинъ	37	еврей	средн.	да	да	да	
Харитоновъ	29	русскій	высш.	да	да	да	раненъ
Яковлевъ	29	русскій	высш.	--	--	--	убитъ
[illegible]	48	[illegible]	высш.	да	да	да	реф.
Эккъ	38	русскій	высш.	--	да	да	
Богушко	30	эстл.	средн.	--	—	--	убитъ
[illegible]	27	русскій	средн.	--		--	убитъ
Давыдовъ	37	грузинъ	высш.	--	да	да	убитъ
Лаксъ	22	еврей	средн.	--	--	--	
Подольскій	22	еврей	средн.	--		--	убитъ
Соколовъ	32	русскій	средн.	--	-	--	раненъ
Стриковскій	22	еврей	средн.	--	--	--	ран. реф.
Россель	25	еврей	высш.	--	да	да	
Тарсандзе	30	грузинъ	средн.	--	--	--	раненъ
Зикерманъ	22	еврей	средн.	--	--	--	
Торфъ	25	еврей	средн.	--	--	--	

ДЕКЛАРАЦІЯ

россійскихъ соціалистовъ, вступившихъ волонтерами въ французскую армію.

Мы, соціалисты Россіи, вступаемъ въ ряды арміи Французской Республики. Въ полномъ сознаніи всей политической отвѣтственности этого шага, мы считаемъ необходимымъ ясно опредѣлить мотивы, руководящіе нашимъ рѣшеніемъ.

Причиной громаднаго международнаго бѣдствія, — нынѣшней войны, — была захватная имперіалистическая политика правящихъ классовъ всѣхъ европейскихъ державъ, и отвѣтственность за страшныя бѣдствія падаетъ исключительно и всецѣло на эти классы. Феодально-автократическія правительства Германіи и Австріи, непосредственно подготовившія и спровоцировавшія эту войну, являются главнымъ факторомъ міроваго имперіализма, однимъ изъ основныхъ объективныхъ оплотовъ россійскаго самодержавія и важнѣйшей причиной франко-русскаго союза въ его нынѣшней реакціонной формѣ. Побѣда австро-германской феодальной военщины надъ западно-европейскими демократическими государствами неизбѣжно повлечетъ къ закрѣпленію и усиленію международнаго милитаризма, этой главной помѣхи въ побѣдномъ развитіи международнаго соціализма; она явится пораженіемъ западно-европейской демократіи, а слѣдовательно задержкой общественной эволюціи Европы и свободнаго развитія рабочаго движенія; наконецъ, она неизбѣжно приведетъ къ задержкѣ экономическаго и соціальнаго развитія Россіи, и къ укрѣпленію самодержавнаго строя.

Всѣ эти послѣдствія побѣды нынѣшняго австро-германскаго правительства составляютъ страшную угрозу самымъ кровнымъ интересамъ международнаго пролетаріата.

Пораженіе правящей Германіи и Австріи непосредственно явится торжествомъ и укрѣпленіемъ демократіи, смертельнымъ ударомъ милитаризму и пережиткамъ феодальнаго деспотизма въ германскихъ государствахъ; оно неизбѣжно приведетъ къ образованію Нѣмецкой Республики и тѣмъ самымъ отниметъ у россійскаго самодержавія международную опору его существованія, устранивъ мотивы и интересы, заставляющіе европейски

правительства и буржуазію поддерживать и питать его, въ частности мотивы нынѣшняго франко-русскаго союза.

Считаясь съ войной, какъ съ реальнымъ фактомъ, предотвратить который онъ не могъ, Соціалистическій Интернаціоналъ кровно заинтересованъ, чтобы таковы и только таковы были результаты войны; обязанностью соціалистовъ всѣхъ странъ является поэтому самое рѣшительное воздѣйствіе на ходъ войны въ такомъ именно направленіи и самое энергичное подавленіе возможныхъ попытокъ реакціи всѣхъ заинтересованныхъ странъ превратить побѣду надъ Германіей въ побѣду реакціи и шовинизма надъ демократіей, въ частности надъ демократіей германской или россійской.

Для исполненія именно этой обязанности, для достиженія этихъ именно цѣлей принимаютъ активное участіе въ войнѣ и наши французскіе товарищи.

Принимая все это во вниманіе, мы, соціалисты Россіи, глубоко убѣждены, что вѣрно въ мѣру нашихъ силъ служимъ интересамъ международнаго пролетаріата, послѣдовательно остаемся непримиримыми врагами россійскаго самодержавія и, наконецъ, проявляемъ наибольшую волю къ сознательно соціалистическому дѣйствію, вступая въ армію Французской Республики съ лозунгами:

Да здравствуетъ демократія! Да здравствуетъ Германская Республика! Долой царизмъ! Да здравствуетъ международный соціализмъ!

Слѣдуютъ подписи.

21 августа 1914 г.

ПИСЬМО ГРУППЫ ВОЛОНТЕРОВЪ,

адресованное одному видному русскому соціалисту.

26 іюня 1915 года.

Товарищъ.

Мы, группа русскихъ волонтеровъ, обращаемся къ Вамъ, какъ къ человѣку, которому интересы наши не чужды, который принимаетъ къ сердцу всякую обиду, нанесенную намъ, а главное, который за всякую этакую обиду имѣетъ мужество потребовать должнаго объясненія. Вы великолѣпно знаете, по всѣмъ вѣроятностямъ, исторію вступленія нашего въ „ряды французской арміи“ (такъ намъ сказали). Мы пошли въ легіонъ. Трудно передать Вамъ все то, что мы перестрадали за эти 11 мѣсяцевъ пребыванія въ немъ. Мы находимся на фронтѣ 9 мѣсяцевъ, провели всю зимнюю кампанію, переносили голодъ, холодъ, всякія другія физическія страданія. Всѣ эти невзгоды мы встрѣчали съ замѣчательной стойкостью. Но чего мы пережить не могли и противъ чего мы часто возставали — это были нравственныя страданія.

„Вы пришли сюда ѣсть похлебку!“

„Вы дезертиры, поступили въ волонтеры, чтобы избѣжать каторги, которая васъ ждала“ — вотъ образчики тѣхъ рѣчей, которыми насъ угощали. Насмѣшки, надругательства, оскорбленія самаго низкаго сорта (дѣло доходило до побоевъ) вотъ участь волонтеровъ вообще, а русскихъ въ частности.

Да и не могло быть иначе. Всѣ наши начальники — отъ офицеровъ вплоть до капраловъ вышли изъ дисциплинарныхъ батальоновъ, привыкшіе встрѣчаться съ необузданной волей дисциплинарцевъ. Они то и рѣшили а пріори, что имѣютъ дѣло съ какимъ то сбродомъ, и съ волонтерами стали обращаться, какъ съ таковымъ. Такое существованіе мы влачили цѣлыхъ 11 мѣсяцевъ, забывая всякое чувство человѣческаго достоинства. Ибо все это мы переносили, рѣдко возражали.

Но вотъ 21 с. м. (н. с.) произошелъ случай, который заставилъ насъ содрогнуться. Кровь застываетъ въ жилахъ при одной мысли о вопіющей несправедливости, вопли о мщеніи которой

доходитъ до самаго неба и свидѣтелями которой являемся мы. Мы безсильны. Мы ничего не можемъ сдѣлать. Обращаемся къ вамъ за помощью. 17 с. м. ночью мы, т. е. баталіонъ Ф 2-го иностраннаго полка, прибыли въ мѣстечко С..... гдѣ мы и расположились лагеремъ, послѣ 20 килом. марша (мы перемѣняли секторъ). На слѣдующій день солдаты, за всѣ эти 9 мѣсяцевъ рѣдко видѣвшіе какую бы то ни было деревушку, хотѣли воспользоваться пребываніемъ въ ней и, разсыпавшись по всѣмъ улицамъ этого мѣстечка, устремились за разнаго рода покупками, за виномъ, главнымъ образомъ. Но вдругъ приходитъ приказъ, что солдатамъ запрещается покупать вино, и тотъ, кто будетъ пойманъ, при покупкѣ вина, будетъ арестованъ. Такъ какъ такіе приказы издавались довольно часто и рѣдко кто на нихъ обращалъ вниманіе, то публика и на этотъ разъ вниманія не обратила. Вино продолжали продавать, а солдаты покупать. Но, какъ это часто бываетъ, вина, которое продавалось нарасхватъ, стало скоро не хватать, и оно сдѣлалось даже рѣдкимъ. И вотъ на улицахъ стали появляться, кто въ одиночку, кто парою, солдаты съ бидонами, разыскивающіе этотъ драгоцѣнный, хоть на минуту отрывающій насъ отъ грустной дѣйствительности, напитокъ.

Между ищущими вина находились Кононовъ и Каскъ (оба второй роты). Оба они были навеселѣ, но ни въ коемъ случаѣ не пьяны. Доказательствомъ служитъ тотъ фактъ, что Кононовъ, который долженъ былъ получить деньги и который имѣлъ „mandat," представившись въ такомъ видѣ своему лейтенанту съ просьбой дать взаймы немного денегъ, получилъ бумажку въ 20 фр., коихъ въ пьяномъ видѣ не получилъ бы. Съ этой бумажкой, захвативъ нѣсколько бидоновъ, они отправились на розыски. Они хотѣли наполнить и остальные бидоны.

Въ поискахъ вина они очутились около караульнаго помѣщенія. Начальникъ караула sergent Barras, бывшій адъютантъ, разжалованный за побои, которыми онъ щедро угощалъ своихъ подчиненныхъ, находился какъ разъ въ сосѣднемъ домикѣ съ другими сержантами. При звукахъ рояля онъ, караульный начальникъ, и остальные сержанты устраивали попойку. Привлеченные звуками рояля Кононовъ и Каскъ приблизились. Узнавъ, что можно достать вина, они попросили наполнить оставшіеся порожними бидоны. Но тутъ выступилъ сержантъ Баррасъ. Опорожнивъ одинъ изъ полныхъ бидоновъ, онъ подзываетъ 6 человѣкъ изъ караула и велитъ арестовать обоихъ; никакіе протесты не помогли. Не помогло и сопротивленіе. Ихъ силой повели въ караульное помѣщеніе и оставили въ садикѣ, находившемся при домикѣ караульнаго помѣщенія и который былъ отдѣленъ отъ улиц ыжелѣзной рѣшеткой. Злоба закипѣла въ болѣе впечатлительномъ Кановонѣ. Онъ разразился упреками по адресу сержанта Банраса и легіонеровъ вообще. Болѣе разсудительный Каскъ сталъ румо-

лять сержента Барраса пустить ихъ въ роту. Но Баррасъ объ этомъ и слышать не хотѣлъ.

Кононовъ продолжалъ шумѣть.

Привлеченные шумомъ два его товарища изъ того же русскаго взвода, Кирѣевъ и Элефантъ, приблизились къ рѣшеткѣ спросить въ чемъ дѣло. Безъ всякихъ разговоровъ Баррасъ велитъ и ихъ арестовать подъ тѣмъ предлогомъ, что Кирѣевъ безъ шинели, въ мундирѣ. Несмотря на сопротивленіе, имъ пришлось раздѣлить участь своихъ товарищей. Начался еще большій шумъ. По адресу легіона стали раздаваться упреки. Давно накипѣвшая злоба вылилась наружу. Всѣ пережитыя обиды, и оскорбленія, всѣ пережитыя страданія, всѣ надругательства, которымъ они подвергались, стали принимать окраску настоящаго. Раскраснѣвшіеся подъ вліяніемъ выпитаго вина, которое начало теперь дѣлать свое дѣло, они, безсильные, наполовину по-русски, наполовину по-французски старались излить свою злобу за прежнія обиды. Ихъ пробовали унять. Они просили отпустить ихъ въ роту. Сержантъ Баррасъ только усмѣхался. Они потребовали ихняго лейтенанта. Послѣдній явился. Всѣ они весьма вѣжливо и тихо стали объяснять, почему ихъ арестовали. Дѣло клонилось къ концу...

Но вотъ приходитъ комендантъ. Лейтенантъ Марокини желаетъ ему объяснить въ чемъ дѣло. То же самое хотятъ Кановъ, Каскъ, Элефантъ и Кирѣевъ.

Но тотъ безъ всякихъ разговоровъ обращается къ Баррасу:

— Что, бунтъ?— спрашиваетъ онъ.

—Да,—коротко отвѣчаетъ тотъ.

—Связать ихъ—грозно скомандовалъ онъ и ушелъ.

Послали за поддержкой, ибо 15 человѣкъ противъ 4 было мало. Караулъ былъ изъ 3 роты. Оттуда же взяли поддержку въ 12 человѣкъ. Среди нихъ былъ полякъ Адамчевскій. Узнавъ въ чемъ дѣло, онъ потребовалъ замѣнить его другимъ, говоря, что онъ ничего не сумѣетъ сдѣлать противъ своихъ товарищей. Ему пригрозили полевымъ судомъ. Недолго думая, онъ бросилъ свою винтовку и патронташъ и, перескочивъ въ одинъ мигъ желѣзную рѣшетку, присоединился къ своимъ товарищамъ. Послали за веревками. Несмотря на отчаянное сопротивленіе, ихъ все таки связали. Тутъ намъ пришлось увидать картину, которая своимъ безобразіемъ и звѣрствомъ превосходитъ всякое человѣческое понятіе.

Сержантъ Баррасъ набрасывается на лежавшаго на землѣ, головою на камняхъ, связаннаго по рукамъ и ногамъ Кононова, и колотитъ его до тѣхъ поръ, пока у того послѣднюю и силъ не было кричать. Самые близкіе товарищи Кононова не могли его узнать потомъ.

Лейтенантъ Sandre (онъ пришелъ, такъ какъ его рота была въ караулѣ) извѣстный своей жестокостью негерастъ, прибли-

жается къ окровавленному Адамчевскому (3 рота) и въ то время, когда тотъ стонетъ отъ боли, Sandre наноситъ ему ударъ каблукомъ по головѣ съ такой силой, что кровь ручьемъ начинаетъ течь изъ уха и рта. Когда infirmier хотѣлъ было приблизиться сдѣлать ему перевязку, лейтенантъ Sandré не только не разрѣшилъ, но прогналъ его прочь, предварительно пригрозивъ подвергнуть его той же участи, которой подверглись и „бунтовщики". Лежавшему около Адамчевскаго Каску онъ нанесъ ударъ носкомъ въ голову. Не забудьте, что всѣ 5 были связаны по рукамъ и ногамъ до такой степени, что не могли сдѣлать малѣйшаго движенія. Но это не все. Когда лейтенантъ Сандре ушелъ, сержантъ Баррасъ хотѣлъ похвастаться своими легіонерскими способностями. Онъ раздѣлъ Кирѣева до гола и, позволяя себѣ разныя грубыя шутки съ нѣкоторыми частями его тѣла, облилъ все тѣло его холодной водой. Наконецъ, схвативъ громадный и грязный кусокъ тряпки, онъ сунулъ его ему въ ротъ, и помогая себѣ палкой, толкалъ ее все дальше въ глотку. Казалось, онъ хотѣлъ его задушить.

Всѣ эти надругательства продолжались до тѣхъ поръ, пока не пришелъ командиръ 2-ой роты, кап. Ж. Онъ приказалъ развязать своихъ солдатъ, сдѣлать имъ перевязки, дать имъ поѣсть и велѣлъ имъ отдохнуть.

Вся русская публика, узнавъ о происшедшемъ, заволновалась. Но было уже поздно.

Въ 3 часа утра мы ушли изъ К....... Всѣхъ 5 вели подъ конвоемъ. Они уже заранѣе заявили, что больше въ легіонъ не вернутся. 19 с. м. въ 7 часовъ утра мы пришли въ Р....... Русская публика, и такъ уже сплошь возбужденная, стала все больше и больше возбуждаться по мѣрѣ того, какъ узнавала подробности происшедшаго. Все чаще и чаще стали раздаваться голоса негодованія. Возбужденные до послѣдней крайности два русскихъ волонтера 1-ой роты Дыкманъ и Брудекъ сложили оружіе, заявивъ, что они никуда больше съ легіономъ не пойдутъ. Съ французскимъ полкомъ — съ удовольствіемъ, но ни въ коемъ случаѣ не съ легіономъ. Русская секція, 2-ая рота, послала Николаева и Петрова заявить то же самое. Всѣхъ этихъ 4-хъ сразу арестовали. Та же участь постигла Коледина, Артамошина, Бродскаго, Палле и Шапиро. Эти три послѣдніе уже нѣсколько разъ убѣгали изъ легіона и, представясь жандармскимъ властямъ, открыто заявляли, что больше въ легіонѣ служить не хотятъ. Ихъ успокаивали всякій разъ, но не переводили. Самъ генералъ обѣщалъ похлопотать за нихъ, чтобы ихъ перевели во французскій полкъ. Но обѣщанія остались обѣщаніями. Несмотря на многочисленные побѣги, ихъ военному суду не предавали.

Къ русскимъ примкнули нѣкоторые армяне и др., такъ что вмѣстѣ оказалось 27 человѣкъ заключенныхъ. Русская секція оставалась на свободѣ. Власти, узнавъ о происшедшемъ, при-

слали въ Р...... 2 взвода жандармовъ во главѣ съ полковникомъ и капитаномъ. Заключенныхъ заставляли вернуться въ свои роты. Они отказались вернуться наотрѣзъ, повторяя, что они пойдутъ съ какимъ бы то ни было французскимъ полкомъ, но ни въ коемъ случаѣ не съ легіономъ.

20 с. м. въ 6 часовъ вечера надо было уходить. Русская секція 2-ой роты отказалась слѣдовать. Жандармскій полковникъ началъ съ угрозъ. Но угрозы ни къ чему не привели. Только добрыми словами и послѣ того, какъ обѣщалъ дать имъ отвѣтъ въ 24 часа, онъ добился того, что они пошли.

Все это произошло на задней линіи, за нѣсколько десятковъ килом. отъ непріятеля.

Отвѣтъ получился немедленно.

9 человѣкъ было разстрѣляно (8 русскихъ).

Вотъ фамиліи ихъ:

Палле, Дыкманъ, Брудекъ, Элефантъ, Артамошинъ, Николаевъ, Петровъ, Шапиро и арм. Тимокошанъ.

8 человѣкъ были приговорены къ публичнымъ работамъ на 5 лѣтъ, между ними: Каскъ, Кирѣевъ, Левинсонъ и др.

10 человѣкъ на 10 лѣтъ: Кононовъ, Колодинъ, Лившицъ и др.

Вотъ Вамъ отвѣтъ въ 24 часа.

Дѣйствительно сдержали слово.

Мы вступили въ Р...... въ 6 часовъ вечера, а въ 3 часа дня всѣ 9 человѣкъ были разстрѣляны.

Разсказываютъ, что ихъ разстрѣляли на фермѣ Auternay около Р......

Они приняли приговоръ спокойно, и на смерть пошли, какъ герои.

„Vive la France! Vive la Russie!"

„A bas la Légion!" были ихъ послѣднія слова.

Извѣстіе это поразило насъ до такой степени, что мы шлялись, какъ сумасшедшіе.

Руки наши опустились. Ужасная апатія охватила насъ.

Мы безсильны. Горе обрушившееся скалой придавило насъ всей силой своей тяжести.

Мы задыхаемся.

Помогите.

Группа русскихъ волонтеровъ.

Казненные 9 человѣкъ не принадлежали къ „республиканскому отряду," организованному при содѣйствіи соціалистической парламентской фракціи исключительно изъ элементовъ политической эмиграціи и членовъ русскихъ соціалистическихъ организацій и анархическихъ группъ г. Парижа. Но среди казненныхъ оказались какъ разъ тѣ товарищи, которые пытались стихійную вспыш-

ку „изъ-за вина“ перевести въ русло организованнаго протеста противъ тяжелыхъ условій, въ которыя были поставлены въ иностранномъ легіонѣ русскіе волонтеры. Такъ, среди казненныхъ были 2 делегата 2-ой роты Николаевъ и Петровъ и другіе 7 человѣкъ, отказавшіеся дальше служить въ иностранномъ легіонѣ. Какъ видитъ читатель, самая суровая кара постигла тѣхъ, кто разрядившемуся случайнымъ инцидентомъ настроенію пытался придать организованную форму.

ПИСЬМО МИХАИЛА ФЕДОРОВА.

Вотъ какъ происходило печальное событіе въ батальонѣ 2-го Иностраннаго полка. Командующій составъ этого полка былъ навербованъ почти весь, за самымъ ничтожнымъ исключеніемъ, изъ старыхъ легіонеровъ, служившихъ въ Марокко и др. колоніяхъ и пришедшихъ во Францію сражаться съ нѣмцами по ихъ желанію.

Они всѣ являются тоже какъ бы волонтерами здѣсь на фронтѣ, т. к. они просили быть приравненными сюда.

Но каждый изъ нихъ обязанъ и въ мирное время, а также и во время войны отбыть 5 лѣтъ въ легіонѣ.

Весьма многіе изъ нихъ провели куда большій срокъ времени въ походахъ противъ непокорныхъ арабскихъ и другихъ племенъ, въ гарнизонахъ среди завоеванныхъ областей.

Фактъ ихъ добровольнаго вступленія въ легіонъ до такой степени стирается ихъ послѣдующей службой и въ ихъ собственномъ представленіи, что въ сферѣ военнаго дѣла они видятъ какъ единственную, способную обезпечить цѣлость войска силу, исключительно въ принужденіи.

И уже одно то обстоятельство, что этотъ принципъ принудительности былъ ими противопоставленъ доброй волѣ волонтеровъ записавшихся здѣсь во Франціи на время войны явилось достаточнымъ основаніемъ, на которомъ возникали всѣ тренія между ими и ихъ подчиненными. Съ перваго же дня ихъ прибытія изъ Марокко „святой союзъ" и его принципъ были отодвинуты на второй планъ системой слѣпого подчиненія и казарменнаго принужденія.

Принесшіе свои сердца волонтеры Парижа и др. городовъ Франціи были глубоко оскорблены, когда, подчиняясь духу слѣпой бездушной системы, ихъ наставники военные стали имъ говорить: „ты пришелъ сюда по разсчету личному, ты хочешь ѣсть паекъ."

Были, конечно, среди насъ и такія лица, которыхъ судьба толкнула въ волонтерство изъ за паническаго страха передъ завтрашнимъ днемъ, когда война грозила экономическимъ разстройствомъ и отсутствіемъ заработка. Не эти люди составляли основу нашихъ обрядовъ, не ихъ духъ владычествовать наши-

ми умами. Наоборотъ, эти колеблющіеся подверглись большому вліянію со стороны тѣхъ, кто зналъ и хотѣлъ подчинять интересъ личный потребности общественной. Но... вліяніе, принесенное легіонерами изъ колоніи, духъ корысти, подкрѣпленный авторитетомъ военныхъ, вступило въ борьбу съ моральнымъ авторитетомъ лучшей части волонтеровъ и нашло себѣ подходящій для обработки матеріалъ среди шаткихъ умовъ. Началась полоса моральнаго испытанія. Въ dépots образовались большія группы лицъ, напуганныхъ приближающимся часомъ ухода туда, на новую гору величайшихъ страданій человѣчества, на фронтъ, и они стали искать всякой возможности, чтобы реформироваться и остаться позади.

То же большинство волонтеровъ, которыхъ не обезкуражило вліяніе легіонеровъ и которые съ радостью ушли въ траншеи, даже и тамъ продолжало жить подъ игомъ разъединенія борцовъ на два лагеря: старыхъ командующихъ легіонеровъ и молодыхъ волонтеровъ, которыхъ на первыхъ порахъ разсматривали какъ простое пушечное мясо.

Мы хорошо понимали, что особымъ довѣріемъ не можемъ пользоваться у французскихъ военныхъ властей, какъ сборъ, происходящихъ изъ всѣхъ почти странъ вплоть до турецкихъ, болгарскихъ и нѣмецкихъ, что среди массы волонтеровъ могли быть и прямые военные шпіоны, но не менѣе хорошо мы понимали, что противъ частнаго зла, противъ шпіонажа неумѣстно употреблять мѣры общаго характера и распространять духъ недовѣрія даже и на тѣхъ, кто хотѣлъ умереть за Францію. А что такихъ было большинство среди насъ показываетъ послѣдующая славная исторія битвъ иностраннаго легіона здѣсь во Франціи.

Кромѣ того на почвѣ безсилія солдатъ въ области ихъ внутренняго управленія выросли и ихъ соотвѣтсвующіе плоды, такъ наиболѣе скандальный процессъ г-на Дюкло, осужденнаго со своей дамой сердца за расхищеніе солдатской пищи, ближе всего касался именно той части, гдѣ находился Иностранный легіонъ, и эта пара расхитителей оперировала въ томъ городѣ, гдѣ находился штабъ нашей дивизіи. Въ самомъ же нашемъ полку всѣ хозяйственныя операціи производились „старыми" легіонерами и волонтеровъ въ ту область упорно не пускали, за исключеніемъ тѣхъ лицъ, которые неспособны были вынести сору изъ избы. Никакой гласности, отчетности передъ солдатами не полагалось, какъ это водится вообще въ арміи.

Находившаяся въ полномъ невѣдѣніи масса волонтеровъ, разстроенная къ тому же и тяжестью лишеніи на фронтѣ и специфическимъ отношеніемъ къ ней ея командировъ, была склонна видѣть большую обиду даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по милости какого-нибудь случайнаго пьяницы артельщика приходилось пить черезчуръ водянистое вино или неполную порцію водки.

Но все переносилось относительно спокойно, недовольство выливалось лишь въ форму заявленій, просьбъ, жалобъ въ письмахъ къ роднымъ, поискахъ возможности уйти съ фронта со стороны одиночекъ до тѣхъ поръ, пока была сильна боевая репутація старыхъ легіонеровъ, когда масса волонтеровъ продолжала смотрѣть на своихъ специфическихъ командировъ, какъ военныхъ наставниковъ, примѣръ которыхъ и въ дѣйствительности будетъ очень важенъ въ грядущихъ бояхъ съ нѣмцами. И какъ только тѣ, кто пришелъ на фронтъ, какъ воинъ, увидали, что въ боевомъ отношеніи легіонеры оставляютъ таки кое-что желать, что въ особенности тѣ изъ нихъ, которые прославились пренебрежительнымъ отношеніемъ къ волонтерамъ, сами не много стоютъ, какъ бойцы, какъ сейчасъ же стало наступать время болѣе рѣзкихъ столкновеній.

Не только личныя обиды становились уже стимуломъ для этихъ протестовъ, но и главнымъ образомъ, необходимость ихъ стала диктоваться сознаніемъ того обстоятельства, что поставленные командирами старые солдаты не могутъ, быть можетъ къ ихъ огорченію, быстро приспособиться къ условіямъ новой войны, не умѣютъ уловить психологіи противника, не способны вести людей и, благодаря этому, могутъ только ослабить силу нашего сопротивленія нѣмцамъ.

Мы, конечно, понимали и знали, что есть и среди командного состава легіона люди вдумчивые, талантливые и храбрые солдаты, какимъ былъ, напримѣръ, нашъ прежній взводный Шапель, но система бездушной казармы продолжала еще свирѣпствовать среди насъ, поддерживаемая большинствомъ легіонеровъ и она мѣшала развитію даже и тѣхъ лучшихъ боевыхъ качествъ, которыя все-таки были у ея сторонниковъ.

Тѣмъ изъ насъ, которые спорили съ другими товарищами и говорили, что не надо прощать иной разъ старымъ легіонерамъ, искалѣченнымъ долгой служебной лямкой, т. к. они все же хорошіе борцы и храбрые солдаты. Становилось все труднѣе улаживать споры.

Къ тому же большинство одной изъ очень вліятельныхъ группъ Парижскихъ волонтеровъ было отправлено назадъ своимъ ротнымъ командиромъ еще въ первые мѣсяцы траншеи съ отзывомъ о нихъ, какъ о плохихъ недисциплинированныхъ солдатахъ. Что это были за люди достаточно ясно изъ того, что среди нихъ были покойные Слетовъ и Давыдовъ.

Чтобы покончить съ характеристикой того состоянія, въ которомъ находились волонтеры, я упомяну еще о томъ, что даже испытавшій суровую жизнь въ Африкѣ легіонеръ Каковскій, русскій изъ Одессы, выстрѣлилъ въ себя послѣ словеснаго оскорбленія однимъ офицеромъ, а другой волонтеръ, сынъ многострадальнаго армянскаго народа, дорогой Назарьянъ спитъ

на вѣки возлѣ одной полуразрушенной церкви на фронтѣ, заставивъ самовольно перестать биться свое многострадавшее сердце...

Ко всему привыкаетъ человѣкъ... Попривыкли и мы къ своему сидѣнію передъ К., гдѣ провели зиму съ 14 на 15-ый годъ, только порой выстрѣлъ Назарьяна, Каковскаго и др. нѣтъ, нѣтъ, да и дастъ знать, „что въ царствѣ датскомъ что то гнило".

И вотъ весной 1915 года намъ объявляютъ о походѣ. Ожили, зашевелились, заволновались, проснулись надежды: ждали увидѣться лицомъ къ лицу съ врагомъ, а вмѣстѣ съ этимъ встряхнулись и другія чувства. Батальонъ „С", гдѣ я былъ, считался лучшимъ въ полку. И въ немъ дѣйствительно было намъ не плохо. Насъ русскихъ соединили всѣхъ въ одинъ взводъ и были къ намъ очень внимательны; нашъ капитанъ и лейтенантъ Шапель жили съ нами дружно. Послѣдняго же мы прямо полюбили и всегда съ глубокимъ уваженіемъ относились къ этому другу-офицеру. Но на бѣду нашу этого друга произвели въ капитаны и перевели въ другой батальонъ, намъ же прислали на его мѣсто одного, который первымъ же долгомъ заявилъ себя рукоприкладствомъ.

Наконецъ, мы покинули надоѣвшій намъ секторъ.

По прибытіи въ Шампань мы пробыли немного времени въ траншеяхъ. Ходили слухи, что мы пойдемъ въ бой. Людей нашей секціи заставили сдѣлать одну развѣдку, во время которой были допущены ошибки и, можетъ быть, слабость.

Капитанъ былъ готовъ дать отзывъ о людяхъ, какъ о недостаточно выдержанныхъ солдатахъ, но участники развѣдки запротестовали, указавъ, что здѣсь имѣла мѣсто нераспорядительность руководителя и скорѣе неопытность солдатъ, нежели ихъ робость, т. к. они все же подошли въ этой мѣстности къ нѣмецкимъ траншеямъ ближе, чѣмъ кто либо другой. Отзывъ былъ измѣненъ, но обиженные поняли, что командиры не сумѣвшіе сдѣлать ни хорошаго подбора людей, ни правильной организаціи предпріятія хотѣли свалить вину за неудачу на плечи тѣхъ, кто и до той поры былъ козломъ отпущенія въ Легіонѣ — на волонтеровъ.

Вскорѣ намъ сказали, что изъ Шампани насъ увезутъ на старое мѣсто, гдѣ и оставятъ на долго. Для насъ это было равносильно плохому отзыву. И дѣйствительно, спустя немного насъ сняли изъ траншей и увезли. По дорогѣ старые легіонеры стали смѣяться надъ волонтерами. Дѣло дошло до рукопашной, въ которой побѣдителями оказались волонтеры.

Среди насъ нашлось нѣсколько горячихъ и слишкомъ глубоко почувствовавшихъ личную обиду головъ, задумавшихъ требовать перехода изъ легіона въ другую часть.

Дѣйствительно было тяжко и душно. Въ одной изъ деревень у фронта 11 человѣкъ сдѣлали попытку отказаться идти въ траншеи съ легіонерами и вызвать русскаго военнаго ата-

шэ. Все же ихъ удалось уговорить, да и сами они, будучи хорошими товарищами не захотѣли вставаться позади въ то время, какъ полкъ пойдетъ подъ огонь—но часть опоздала изъ за нихъ къ сбору на 15 минутъ.

Два дня спустя они были осуждены всѣ на 5 лѣтъ публичныхъ работъ и были отосланы въ Африку. Къ слову сказать —черезъ три мѣсяца ихъ вернули по ихъ просьбѣ на фронтъ, но на Балканахъ, гдѣ одинъ изъ нихъ Владимиръ Блаубокъ*) палъ смертью героя.

Въ той же деревнѣ, гдѣ ихъ судили, находились подъ стражей нѣсколько человѣкъ изъ баталіона „F". Я помню Шапиро, такъ какъ мнѣ пришлось быть въ это время въ казармѣ.

Заинтересованный, я спросилъ одного изъ товарищей: за что арестованы эти люди. Это былъ простой волонтеръ. „Они не хотятъ оставаться въ траншеяхъ, придираются къ каждому слову и ссорятся съ легіонерами, требуя перевода въ другую часть". Товарищи изъ баталіона „F" жаловались и раньше на очень многое, на тяжелый трудъ, на специфическое обращеніе, на плохую пищу. Но въ интересахъ истины я долженъ сказать, что лично я не могъ бы назвать Шапиро страдающимъ. Да и сами другіе заключенные говорили: „Насъ думали наказать, но мы сидимъ здѣсь въ подвалѣ въ то время, какъ васъ нѣмцы поливаютъ свинцомъ въ траншеяхъ". Пусть будетъ вся правда.

Послѣ суда надъ 11-ю насъ повезли обратно въ Шампань. Казалось, что дурное впечатлѣніе о насъ, какъ о плохихъ борцахъ, должно было разсѣяться. Но къ огромному сожалѣнію, даже близость общаго врага, который правда сидѣлъ пока спокойно, не была достаточна для заглушенія волонтерскихъ обидъ. По прибытіи въ Шампань въ одной изъ деревень два волонтера Кононовъ и Каскъ подвыпили вина и вступили въ пререканія съ легіонерами. Начальникъ сторожевой службы приказалъ отвести этихъ двухъ въ карцгардію. Караулъ въ деревнѣ держался самимъ же баталіономъ „F" и среди караульныхъ были, конечно, которые увидавъ арестованныхъ, стали протестовать и присоединились къ Кононо-

*) ПРИМѢЧАНІЕ АВТОРА. Блаубокъ — латышъ, морякъ, юноша 20 лѣтъ. Въ Отрядѣ исполнялъ должность [illegible]. 16 Сентября 16 года отправился снести пищу въ линіи передъ деревней [illegible] въ 12 верстахъ отъ Флорины. Линія была не сплошная. Въ промежуткахъ между стрѣльбой ее можно было проходить. Траншей не было, вмѣсто нихъ вырыты были [illegible]. Блаубокъ сбился съ пути и зашелъ повидимому къ проволочнымъ загражденіямъ непріятеля. Ночью начиналась перестрѣлка. [illegible] стоялъ часовымъ въ petit post. Онъ сталъ всматриваться въ темноту, прислушиваясь къ выстрѣламъ. Вдругъ прямо передъ нимъ вырисовалась фигура, бѣжавшая съ непріятельскихъ линій. [illegible] выстрѣлилъ. Человѣкъ упалъ. [illegible] выстрѣлилъ снова, а на разсвѣтѣ пошелъ искать убитаго, думая, что это былъ [illegible]. На землѣ лежалъ убитый наповалъ Блаубокъ. Смерть видимо была моментальной. Это было 20 сентября 916 г.

ву и Каску. Начальникъ караула былъ вынужденъ требовать подкрѣпленія изъ роты, но и среди прибывшихъ сказались новые протестанты, такъ Адамчевскій и Копадинъ, не желая „усмирять“ бросили ружья и зашли къ арестованнымъ. Говорятъ, что начальникъ караула и прибѣжавшій изъ роты офицеръ били каблукомъ по головѣ лежавшихъ на полу Кононова и Адамчевскаго. На приказъ офицера волонтерамъ избивать арестованныхъ первые отвѣтили такимъ волненіемъ, что возникло опасеніе вооруженнаго столкновенія. Тогда были вызваны жандармы. Это было въ походѣ. Продолжая свой путь, батальонъ пришелъ въ деревню Пруи, гдѣ русскій взводъ послалъ Николаева и Петрова вести переговоры съ военнымъ начальствомъ и уладить дѣло, но при этомъ, уступая требованію волнующихся товарищей, делегаты должны были заявить капитану, что люди хотятъ немедленнаго освобожденія товарищей, наказанія виновныхъ въ ихъ истязаніяхъ и перевода изъ легіона.

Къ сожалѣнію, горячія головы слишкомъ страстно добивались уйти съ фронта, гдѣ былъ легіонъ и арестованные настаивали на скоромъ отвѣтѣ, что приняло характеръ мотивированнаго возмущенія. Военное начальство отвѣтило по военному: силѣ мятежа оно противопоставило силу оружія и изолировало 27 человѣкъ, предложивъ Николаеву и Петрову отдѣлиться отъ тѣхъ, кто подлежалъ обвиненію въ бунтѣ передъ лицомъ врага, но оба они остались въ этой группѣ. Былъ судъ. 22-го іюня 1915 года были разстрѣляны въ 3 часа утра на фермѣ Lenternay Петровъ, Николаевъ, Полле, Дыкманъ, Брудэкъ, Шапиро, Элифандъ, Артамашинъ и Тимоксянъ.

Передаютъ, что приводившіе въ исполніе приговоръ солдаты очень сильно колебались вначалѣ, пока не было получено строжайшее подтвержденіе, что душевныя мученія этихъ солдатъ были крайне велики и вынудили одного изъ нихъ покончить самоубійствомъ, что овладѣвшее волненіе помѣшало командовавшему отрядомъ офицеру дать послѣдній револьверный въ ухо — „выстрѣлъ милости“ казненнымъ. „Мятежники“ показали себя послѣдовательными до конца. Они кричали: „Да здравствуетъ союзъ Франціи и Россіи! Долой легіонъ!“ Всѣ они умерли солдатами и только одинъ Шапиро позволилъ завязать себѣ глаза.

Остальные ихъ товарищи по этому, крайне печальному и несвоевременному процессу, осуждены на публичныя работы:

Кононовъ, Колодинъ, Кашкіянъ, Келиджіанъ, Яждріанъ, Эльнасіанъ, Клесимовичъ, Вемборіанъ, Сараджіанъ и Лифшицъ — на 10 лѣтъ и на 5 лѣтъ: Каскъ, Кирѣевъ, Левинсонъ, Еффе, Гульбрузіанъ, Портнеръ и Закрутко.

Давая эти свѣдѣнія, я обязанъ прибавить слѣдующее. Было бы въ высшей степени вредно для всякаго честнаго русскаго человѣка думать, что наши несчастья въ легіонѣ явились резул-

татомъ халатнаго отношенія къ намъ французскаго народа. Нѣтъ, даже и въ минуты страшной опасности для нихъ, французы лучше кого либо другого умѣютъ быть и вдумчивы и великодушны. Объ этомъ знаемъ мы, тѣ, кому пришлось, уйдя изъ легіона, жить среди французскихъ солдатъ. Разговаривая съ покойнымъ Блавбокомъ и другими я убѣждалъ ихъ относиться немного хладнокровнѣе къ ихъ личнымъ обидамъ, когда на свѣтѣ такъ много общаго горя. „Подождите", говорилъ я, „наши обидчики осрамятся въ бою и тогда намъ будетъ легко устранить ихъ. И тѣ изъ нихъ, у кого подъ твердой оболочкой солдата бьется горячее сердце, а въ головѣ живутъ благородныя мысли, будетъ самымъ лучшимъ нашимъ боевымъ товарищемъ, если останемся въ траншеяхъ, не смотря ни на что и тѣмъ докажемъ, что мы прежде всего защитники Франціи и свободы. Мы пришли сюда добровольно и уходить не должны, не только изъ за оскорбленій, но и даже подъ угрозой смерти". И я былъ правъ. Теперь въ легіонѣ послѣ цѣлаго ряда славныхъ битвъ все измѣнилось, теперь нѣтъ лучшихъ друзей и въ бою и въ отдыхѣ, какъ часть старыхъ легіонеровъ. Духъ системы остался прежній, что и во всемъ войскѣ, но духъ войны борется съ нимъ. „Je deteste la guerre: elle gâte les armées," говорилъ одинъ важный человѣкъ; мы же обязаны сказать иначе.

Интересы молодой Россіи властно требуютъ укрѣпленія союза съ Франціей и поэтому я закончу въ голосъ съ казненными: „Да здравствуетъ союзъ Россіи и Франціи!" добавивъ „да здравствуетъ легіонъ, много сдѣлавшій противъ общаго врага, противъ германскаго имперіализма!"

Матеріалъ этотъ можетъ быть употребляемъ для печати при одномъ условіи: не измѣнять и не удалять ни одного слова.

21-го ноября 1916 года. Парижъ.

Михаилъ Федоровъ.

Я привожу здѣсь въ качествѣ документа письмо Longuet.

Соціалистическая группа, цѣлый рядъ видныхъ политическихъ дѣятелей и наконецъ французская печать — встрепенулись: Слухи о томъ, что въ Легіонѣ не все ладно, что русскіе добровольцы были поставлены въ ужасныя моральныя условія—отголосками доходили и раньше. Но какъ всегда бываетъ, нужно было, чтобы катастрофа разыгралась жутко-непоправимая, чтобы совѣсть общественная нашла громкія и нужныя слова осужденія, которыя также какъ и все въ этомъ дѣлѣ — пришли слишкомъ поздно.

CHAMBRE DES DEPUTES. PARIS. le 30 juin 1915.

Chère Madame.

J'ai saisi le groupe socialiste dès vendredi matin le 25 juin du terrible drame dont la fin tragique venait de m'être communiquée par un télégramme de Roubanovitch confirmant ce que vous m'aviez dit dans le Nord-Sud.

L'émotion a été profonde et Sembat nous a promis de voir immédiatement le Président de la République. pour lui en parler.

Je ne l'ai pas vu depuis, si bien que je ne sais pas ce qu'il en est advenu.

De son côté Roubanovitch s'en occupe activement.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.

Croyez, chère Madame, à mes sentiments dévoués.

Jean LONGUET,

Depute de la Seine

То, о чемъ пишетъ въ этомъ письмѣ Лнгэ, относится къ каторжанамъ, о помилованіи которыхъ Sembat обѣщалъ мнѣ говорить съ Пуанкарэ.

Они были помилованы послѣ 4-хъ мѣсяцевъ каторги въ октябрѣ 1915 года.

ОЧЕРКЪ КАТОРГИ.

Путь на каторгу былъ тяжелымъ и длиннымъ. Въ 13 дней пройдены были этапами Фимъ, Парижъ, Орлеанъ, Клермонъ-Ферранъ Нимъ, Марсель, Алжиръ и Орлеанвиль.

13 дней долгаго тяжкаго ожиданія.

30-го іюня партія прибыла въ Орлеанвиль. Сверхъ всякаго ожиданія ихъ встрѣтило хорошее отношеніе и черезъ нѣсколько дней они направились въ Portion за 2 версты отъ Орлеанвиля строить мосты. Плата—13 су въ день— выдавалась не деньгами, а товаромъ и виномъ. Отдѣленные отъ остальныхъ арестантовъ, они спали въ общей камерѣ. На отдыхъ давали двѣ прогулки въ день на дворѣ — утромъ и вечеромъ. Любопытно отмѣтить, что среди начальства нашелся врачъ, заинтересовавшійся всей этой исторіей. Разспросивъ волонтеровъ онъ написалъ прошеніе генералу, командовавшему ихъ дивизіей, прося пересмотра и разбора дѣла и отправки ихъ на любой фронтъ по его усмотрѣнію, но только не въ Легіонъ. Отвѣтъ получился черезъ 20 дней. Генералъ въ чрезвычайно рѣзкой формѣ отказалъ, выразивъ свое неудовольствіе по поводу того, что даже въ этомъ прошеніи осужденными выставлялись какія-то требованія. „Пока они не дадутъ доказательства своей дисциплинированности, писалъ онъ, ни о какомъ помилованіи рѣчи быть не можетъ."

Послѣ 20-ти дневнаго пребыванія въ Portion осужденные были перевезены въ Маскару на другую работу — постройку шоссейныхъ дорогъ. Этотъ періодъ каторги вряд ли изгладится когда-нибудь изъ ихъ памяти. Лично къ нимъ, представлявшимъ изъ себя все же нѣкоторую силу, которая показала съ первыхъ дней, что при случаѣ сумѣетъ за себя постоять отношеніе было сравнительно не плохимъ. Но условія жизни и окружавшая обстановка, какъ жгучее клеймо ложились на душу.

Также какъ и въ Portion плата, пониженная до 20-ти сантимовъ въ день, выдавалась хлѣбомъ и табакомъ. Вина не выдавали совсѣмъ и пища значительно ухудшилась. Писать письма во Францію разрѣшалось разъ въ 15 дней, причемъ въ такихъ случаяхъ выдавался одинъ листъ бумаги и конвертъ. Денегъ имѣть при себѣ не разрѣшалось. А когда кто-нибудь получалъ деньги извнѣ, ихъ удерживали для погашенія судебныхъ из-

тержекъ — въ суммѣ 160 франковъ, которые были поставлены имъ въ счетъ.

Начальниками были старые надзиратели, привыкшіе имѣть дѣло съ преступниками, убійцами и грабителями. Они относились къ людямъ, находившимся подъ ихъ властью, какъ къ скоту безгласному, все снесущему. За несбритіе усовъ лишали на 8 дней жалованія. Носить усы разрѣшалось лишь послѣ 6-ти мѣсяцевъ хорошаго поведенія. Случаи избіенія, а иногда и убійствъ, были явленіями обычными. Били палками, били прикладомъ, били всѣмъ, что попадалось подъ руку. Волонтеръ Литвиновъ, который взялся снести по начальству прошеніе объ освобожденіи, вернулся обратно жестоко избитымъ.

Корсиканецъ Пауло убилъ нѣсколькихъ каторжанъ за драки. Самоубійства, убійства, ножевыя расправы на почвѣ педерастіи, сцены ревности, происходившія изъ-за юныхъ мальчиковъ, служившихъ объектомъ раздора, озвѣреніе человѣческое, которому не было краю — такова была среда, въ которую попали русскіе добровольцы — идейные защитники Франціи.

Жизнь создалась такая ужасная, что многіе рубили себѣ пальцы только бы попасть въ госпиталь.

Что же такое былъ этотъ госпиталь въ Орлеанвилѣ, маленькомъ городкѣ находившемся въ 8 часахъ отъ Алжира?

Мнѣ пришлось говорить съ однимъ изъ нашихъ каторжанъ, который заболѣлъ тифомъ, пролежалъ въ немъ около мѣсяца. Я не думаю, чтобы когда-нибудь этотъ разсказъ уйдетъ изъ моей памяти. Несмотря на довольно большое количество тифозныхъ больныхъ, кромѣ хины въ качествѣ лѣкарствъ имъ ничего не давалось. Леченія, какъ таковаго, не существовало. Весь укладъ жизни былъ приспособленъ къ каторжанамъ. Самое зданіе низкое и сырое, съ рѣшетчатыми окнами было настолько темнымъ, что читать оказывалось совершенно невозможнымъ. У дверей бессмѣнно стоялъ часовой. Служителей не существовало. Нужно было либо дѣлать все самому, либо обращаться къ каторжанамъ-больнымъ. Въ камерѣ помѣщалось до 25 человѣкъ. Если врачъ находилъ, что больной говорилъ неправду, его отправляли немедленно въ тюрьму въ одиночку на воистину „каторжный" режимъ. 1 гамелька супа на 4 дня; полъ були и 350 граммъ хлѣба въ день и гамелька воды въ сутки.

Cellule представляла изъ себя яму въ 5 метровъ глубины, 1,5 метра въ діаметрѣ. Крыши не было, стѣны совершенно прямыя. На днѣ вода. Въ эту яму человѣкъ вбрасывался и запирался. На ночь приносили одѣяло, которое отбиралось на утро. Но сидѣть приходилось скорчившись и о снѣ нельзя было и мечтать. Этотъ разсказъ я слышалъ отъ волонтера, который заболѣлъ на работѣ и попросился къ врачу. За это его посадили на 8 дней въ Cellule.

Тюремные надзиратели били звѣрски, били за малѣйшую провинность. Въ случаѣ сопротивленія арестанта раздѣвали до гола, сковывали, какъ распятаго, прикрѣпивъ на крестѣ и оставляли привинченнымъ къ полу иногда на 24 и 48 часовъ. Все начальство состояло исключительно изъ корсиканцевъ суровыхъ и жестокихъ. 30 дней тюрьмы увеличивали срокъ каторги на 6 мѣсяцевъ.

....Забудутъ ли когда-нибудь наши волонтеры эти нѣсколько мѣсяцевъ своей жизни?

ИЗЪ ТЯЖКИХЪ СТРАНИЦЪ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА.

„Насъ было 490 человѣкъ, взятыхъ въ плѣнъ турками въ Палестинѣ. Впихнутые въ зданіе, гдѣ могло максимумъ помѣститься 150 человѣкъ — мы работали по 18 часовъ въ сутки, подгоняемые нагайками за непокорство или усталость, въ мечтѣ объ освобожденіи. Оно пришло, когда наконецъ пріѣхали американскіе пароходы и увезли насъ въ Александрію. Тамъ былъ сформированъ Иностранный Легіонъ въ 594 человѣка, причемъ офицерами также назначили евреевъ и лишь полковникъ и капитанъ оказались англичанами. Фамилія полковника была Гендерсонъ.

Единственное требованіе, которое предъявляли при записи добровольцы, было объ отправкѣ ихъ въ Газу, въ Палестину. Обѣщаніе это было дано, но, вмѣсто Палестины, ихъ отправили все-же въ Дарданеллы, гдѣ Легіонъ былъ разбитъ. Оставшихся въ живыхъ насчитывается 111 человѣкъ

Несмотря на хорошую пищу и одежду, ужасное отношеніе начальства до такой степени деморализовало и измучило солдатъ, что требованіе о раскассированіи Легіона по англійскимъ полкамъ стало, какъ и во Франціи вопросомъ самымъ серіознымъ и неотложно существеннымъ. Но добиться этого не удалось.

Само собой разумѣется, что наиболѣе удобной почвой, на которой и разыгрывались тяжелые инциденты былъ вопросъ религіозный. Происходили сцены такого рода.

5 часовъ утра. Еврей молится. Подходитъ капитанъ Роллеръ, еврейскій банкиръ, и въ то время, когда онъ молится, спрашиваетъ почищена ли его лошадь. Еврей, не прерывая молитвы, кивкомъ головы отвѣчаетъ утвердительно. Тогда капитанъ сбиваетъ съ него tales и опрокидываетъ его на земь. Тотъ становится на колѣни и, поднявъ руки къ небу, говоритъ:

„Богъ отомститъ тебѣ и накажетъ за меня."

„И мы всѣ очень плакали", тихо, какъ то про себя прибавляетъ разсказчикъ.

О происшедшемъ было донесено полковнику Гендерсону, который сдѣлалъ Роллеру строгое внушеніе и разрѣшилъ евреямъ молиться утромъ и днемъ, когда они захотятъ. Аттаки въ то время происходили исключительно ночныя.

Тотъ же капитанъ зашелъ рано утромъ въ палатку къ своему денщику въ то время, какъ тотъ пилъ свое кофе. Однимъ движеніемъ ноги онъ сбрасываетъ чашку на землю и кричитъ: „Я еще не пилъ своего, а онъ уже распиваетъ кофе!"

Вечеромъ этого дня — денщикъ былъ убитъ.

Также какъ и во Франціи еврейскихъ волонтеровъ обвиняли въ томъ, что они пошли на войну ѣсть англійскій хлѣбъ, несмотря на то, что среди ангажировавшихся были люди очень состоятельные съ одной стороны, а съ другой — студенты, записавшіеся исключительно по идейнымъ соображеніямъ.

„Но главной незабываемой обидой для насъ было то, что несмотря на данное обѣщаніе мы не были посланы въ Палестину...

Оглавленіе.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D
640
K92

Krestovskaia, Lidiia
Aleksandrovna
Iz istorii russkago vo-
lonterskago dvizheniia vo
Frantsii

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 14 21 25 10 019 3